

Михаил Барс

Послезавтра
Саша не пойдёт
В ШКОЛУ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Михаил Барс

**Послезавтра Саша
не пойдёт в школу**

«Автор»

2026

Барс М.

Послезавтра Саша не пойдёт в школу / М. Барс — «Автор», 2026

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ: 18+ЭТО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. АВТОР КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТ ТЕРРОРИЗМ, НАСИЛИЕ И ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ЭКСТРЕМИЗМА. В КНИГЕ ОПИСАНЫ СЦЕНЫ РАЗРУШЕНИЙ, ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ, ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ У ДЕТЕЙ. НЕКОТОРЫЕ ЭПИЗОДЫ МОГУТ БЫТЬ ТЯЖЕЛЫ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ. ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЖИЛИ ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧИТАТЬ, ОЦЕНИТЕ СВОЁ СОСТОЯНИЕ. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.Суббота, первое сентября. Шестилетний Саша просыпается от запаха оладий и не знает, что видит свой последний нормальный день. Впереди школа, ранец с динозаврами, обещание нарвать цветов для соседской девочки Лены.Тридцать лет спустя Саша, выживший, но так и не отпустивший ту ночь, садится писать книгу. Он ходит босиком по ламинату, ожидая осколок под пяткой, и пытается собрать разбитый мир по кирпичику.«Послезавтра Саша не пойдёт в школу» — это роман-воспоминание о теракте, который стёр один подъезд и навсегда расколол жизни остальных. Это история о том, как тишина после взрыва звенит годами.

© Барс М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	6
Глава 1. Суббота	12
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Михаил Барс
Послезавтра Саша не пойдёт в школу

Пролог



Мне тридцать три. Это возраст, в котором мой отец уже был лысеющим мужчиной с грубыми руками и больным сердцем, а я всё ещё чувствую себя мальчишкой, который тайком примеряет отцовские ботинки. Они мне до сих пор велики Эти ботинки. Во всех смыслах.

Я сижу в пустой квартире. Не в той, где это случилось. В той квартире давно живут другие люди, которые, возможно, даже не знают, что почти тридцать лет назад, в два часа ночи, планировка их спальни изменилась на несколько сантиметров из-за ударной волны. Нет, я сижу в своей съемной студии, где из мебели только стол, стул, кровать и книжный стеллаж, забитый чужой классикой. Моего здесь ничего нет. Я всю жизнь подсознательно избегал накапливать вещи. Вещи имеют свойство ломаться, падать, впиваться в кожу осколками.

Я решил написать книгу. Автобиографию. Звучит претенциозно для человека, который не совершил ничего великого, кроме одного. Я выжил. Но в кругу нашей семьи, в кругу соседей, переживших тот сентябрь, выживание стало нашим главным достижением. Нашим орде- ном, который мы носим не на груди, а где-то глубоко в легких.

Передо мной чистый лист. Нет, не так. Передо мной светящийся белый прямоугольник монитора, который намного страшнее бумаги. Бумагу можно смять, порвать, сжечь, и это принесет облегчение. Монитор же холоден и равнодушен, он просто ждет, пока я заполню его пустоту словами.

С чего начать историю, которая началась с грохота? Наверное, с тишины.

Парадокс в том, что сам взрыв я помню хуже всего. Мой мозг, мой детский, пластилиновый мозг, просто стер детонацию. В моей памяти нет того оглушительного «БАХ», о котором говорят выжившие взрослые. В моей памяти есть только переход. За секунду до я сплю, уткнувшись носом в шерстяное одеяло, пахнущее стиральным порошком и пылью. Мне тепло, и я вижу сон про огромный желтый экскаватор. А через секунду Нет, даже не через секунду, а в ту же самую долю мгновения, я уже лечу. Меня подбрасывает на кровати, как тряпичную куклу. Но не только меня, а весь мир. Кровать, пол, дом. Всё совершает гигантский прыжок вверх, навстречу люстре.

В новостях пишут «раздался взрыв». Какое пошлое, беспомощное выражение. Взрыв не «раздается». Он вторгается. Он берет все звуки мира, все басы, все скрипки, весь шум машин за окном и сминает их в один тугой шар, чтобы швырнуть этим шаром тебе прямо в лицо. Но я не услышал ни звука. Я услышал только результат. Мертвую, звенящую тишину после.

Знаете, как звенит тишина после контузии? Она поет. У нее есть нота. Высокая, тонкая, как натянутая струна «ми» на скрипке, которая застряла у тебя прямо в центре черепа.

Я решил начать книгу именно с этого момента: с моего шестилетнего «я», которое еще не понимает, что случилось. Я хочу восстановить тот мир, который исчез.

Наш двор был колодцем. Не в переносном смысле. Настоящим, каменным колодцем. Девятиэтажки стояли буквой «П», создавая внутри идеальную акустическую ловушку. Если кто-то на седьмом этаже ругался с женой, весь двор знал, что Вася опять пьет. Если на третьем этаже играли на пианино гаммы, это была пытка для всех. В этом дворе я научился говорить, кататься на велосипеде и ругаться матом. Последнему, благодаря Васе с седьмого этажа.

Я пишу это и улыбаюсь. Улыбка Странный защитный рефлекс. Чем страшнее воспоминание, тем сильнее хочется искать в нем смешное, чтобы оно не поглотило тебя целиком. Но смешного мало.

В сентябре темнеет рано, но ночи еще не холодные. Та ночь была душной, пахло бензином. Я помню, как мама ворчала перед сном, что кто-то опять забыл закрыть бензобак у машины во дворе, и вонь стоит до шестого этажа.

— Так и угореть недолго, — сказала она, задерживая плотные шторы. Плотные, бордовые, с желтыми разводами. Они казались мне театральным занавесом. Теперь я понимаю, что они спасли мне жизнь заслонив от осколков стекла.

Мама всегда задергивала шторы, чтобы уличный фонарь не светил мне в глаза. У меня была «сова» на подушке. Вышитый соенок с пуговицами вместо глаз. Одна пуговица оторвалась еще в августе, и соенок смотрел на мир одним голубым глазом. Второй был черной дыркой, заполненной нитками. Я лежал и думал, видит ли соенок что-нибудь этим дырявым глазом? Может быть, какой-то особый, ниточный мир?

И вот, с этой мыслью я уснул. А проснулся уже в другом мире. В мире, где нет соенка, где нет штор, а есть только резкий запах, похожий на запах петарды, и хруст стекла под босыми ногами отца.

Если честно, я боюсь писать эту книгу. Потому что, окунувшись в это, я снова стану тем шестилетним мальчиком. Но писать надо. Потому что, пока я пишу, тот двор, те люди, та мамина бордовая штора Они живы. И пока я здесь, на белом листе, снова собираю наш разбитый дом по кирпичику, смерти нет. Есть только память.

Я курю уже третью сигарету. Знаю, вредно. Но когда я пишу о том времени, я начинаю совершать странные ритуалы, которых у меня нет в обычной жизни. Я начинаю курить, хотя никогда не был заядлым курильщиком. Я начинаю пить черный чай с двумя ложками сахара, как пил его в детстве, хотя в обычное время люблю его пить вообще без сахара. Я снимаю носки и хожу по холодному полу босиком — это неосознанное повторение маршрута отца по разбитому стеклу. Мои ступни целы, пол гладкий, ламинат, но я все равно ступаю осторожно, как по минному полю, ожидая, что вот-вот под пятку вонзится острая крошка.

Тело помнит всё. Психотерапевт говорила мне:

— Саша, травма живет в теле. Пока разум строит логические цепочки и оправдания, мышцы помнят ту секунду, когда они сжались в ожидании удара.

Мой психотерапевт мудрая женщина с уставшими глазами. Она единственная, кому я рассказал, что хочу написать книгу.

Она спросила: «Зачем?». Я ответил: «Чтобы отпустить». Она покачала головой:

— Травму нельзя отпустить. С ней можно только научиться жить в одной комнате, не ссорясь.

Эта книга и есть моя попытка обставить нашу общую комнату так, чтобы я не вздрагивал от каждого скрипа.

Но я отвлекся. Я обещал себе писать честно. Детализированно. Не упускать ни одной мелочи, потому что дьявол, как известно, прячется в деталях. И Бог тоже.

Итак, сентябрь. Мне шесть лет. Я не знаю слова «террор». Я знаю слова «трансформеры», «мультки» и «не хочу в садик». В этом сентябре, через два дня, я должен был пойти в школу. У меня уже был куплен ранец. Огромный, ортопедический, черный с красными полосками. Он стоял в моей комнате, на тумбочке в углу, набитый тетрадками в косую линейку. Этот ранец переживет взрыв. Он просто упадет, и его засыплет штукатуркой. Когда отец будет выносить меня из квартиры, я, сквозь пелену ужаса и полусна, увижу его, лежащего в пыли, и заплачу не от боли, а от того, что тетрадки испачкались. Странная детская логика: дом рушится, мир горит, а тебе жалко испачканные тетради.

Я хочу сохранить этот взгляд. Этот инфантильный, чистый, не замутненный социальными догмами взгляд ребенка. Когда я перечитываю заметки, которые делал для романа, я вижу, как сложно мне, взрослому, не скатиться в пафос. «Трагедия страны», «боль народа». Всё это правда, но это неправда шестилетнего Саши. Для шестилетнего Саши трагедия была в том, что разбилась любимая кружка с динозавриком.

Кровь на майке отца. Это первое, что я увидел, когда отец выбежал со мной в коридор между входами в квартиры, где хранились стеклянные банки с закрутками на зиму (мы звали его «карманом»). В «кармане» горела тусклая лампочка, залепленная дохлыми мухами. При ее желтом, умирающем свете я увидел лицо отца. Оно было белым. Не бледным, а именно белым. На лбу у него была ссадина, из которой сочилась темная струйка, обтекающая бровь.

Он крепко прижимал меня к груди, и я чувствовал, как бешено колотится его сердце. Тук-тук-тук-тук. Слишком быстро, как у загнанного кролика.

Папа ступал босиком... Он даже не успел надеть тапки. Я смотрел вниз, через его плечо, и видел, как его пятки опускаются на усыпанный осколками от разбитых банок бетонный пол. Он морщился, но не издавал ни звука. Шипел сквозь зубы, втягивая воздух, и продолжал идти. Скрип стекла под живой человеческой плотью — это звук, который я не забуду никогда. Это хуже, чем звук взрыва. Взрыв — это стихия, это хаос, это можно списать на Бога или дьявола. А скрип стекла под ногами твоего отца — это пытка, это жертва, которую приносят здесь и сейчас ради тебя. Я висел мешком и боялся пошевелиться, чтобы не сделать ему больнее.

В тот момент я еще не знал про маму. Я думал, она идет следом. Но она не шла. Она осталась там, в спальне, придавленная платяным шкафом «Хельга». Шкаф был старый, дубовый, неподъемный. Папа всегда говорил:

— В случае землетрясения этот шкаф нас и убьет. Сам уцелеет, а нас придавит.

Это была шутка. Мы жили не в сейсмической зоне. Откуда нам было знать, что землетрясение придет не из-под земли, а из припаркованного у четвертого подъезда фургона?

Фургон. Белый «Фольксваген» с ржавым пятном на боку. Я видел его днем, когда гулял с бабушкой. Он стоял у арки, перегораживая проезд. Бабушка еще ругалась:

— Вот понаставили колымаг, ни пройти ни проехать. И откуда у людей деньги на такие машины? Понаехали.

Она всегда говорила «понаехали». Она пережила войну, послевоенный голод, перестройку и закалилась в ненависти к любым чужакам. Но даже она не могла представить, что этот фургон не машина, а гроб на колесах. Да и никто не мог.

Следователи потом скажут, что если бы фургон поставили прямо у нашего третьего подъезда, дом бы рухнул полностью, как картонный домик. Мы бы все погибли, сплюснутые в лепешку бетонными плитами. Но фургон стоял чуть дальше, у соседнего, четвертого подъезда. Поэтому четвертый подъезд просто испарился. Превратился в грудку бетонной крошки и арматуры, торчащей, как сломанные ребра гигантского зверя. Наш подъезд устоял. Дом дал трещину от фундамента до крыши, но выстоял. Физики называют это «избыточным давлением во фронте ударной волны». Я называю это чудом. Мама называла это проклятием.

Я отвлекаюсь на кофе. Кофе остыл. Гуща прилипла к стенкам чашки. Если верить гадалкам, узор из гущи не сулит ничего хорошего. Сплошные пики и разрывы. Я отставляю чашку и смотрю в окно. Там, за стеклом, мирная жизнь. Машины, люди с собаками, дети на самокатах. Они не знают. Им и не нужно знать. Зачем им мой груз? Но я должен его как-то передать, переложить на бумагу, чтобы он перестал давить на мои собственные ребра, как тот шкаф «Хельга» на мою маму.

Давайте я расскажу о маме. Это самое трудное. Потому что мама в моей памяти разделилась надвое. Есть Мама До — это красивая, смешливая женщина с пышной химической завивкой и родинкой над губой, которая всегда пела на кухне фальшивым голосом:

— Ах, какая женщина, какая женщина-а-а.

А есть Мама После. Женщина с тонкими, как пергамент, запястьями, изрезанными шрамами, которая перестала петь. Вообще перестала. Даже колыбельные мне больше не пела. Голос пропал. Не физически, связки уцелели. Пропало желание издавать мелодичные звуки. Мир перестал быть местом для песен.

В момент взрыва она спала на спине. Это была ее привычка, спать на спине, сложив руки на груди, как покойница. Папа смеялся, что она репетирует. Идиотская шутка, которая в ту ночь чуть не стала реальностью. Ударная волна вошла в окно. Стекла брызнули внутрь, как миллион пуль, но плотные бордовые шторы, которые висели у каждого окна в квартире, задержали большую часть осколков. Стекло запуталось в ткани, как рыба в сетях. Но шкаф «Хельга», стоявший у стены, качнулся. Сначала назад, от взрыва, а потом, когда волна схлы-

нула и здание качнулось обратно, шкаф рухнул на кровать. Трехстворчатый, набитый постельным бельем и старыми фотоальбомами.

Папа рассказывал потом, что он сразу понял — мама там, но она кричала моё имя, и поэтому отец принял решение сначала спасти меня, а после вернуться за ней. Когда папа вынес меня из квартиры, он поставил меня, полуголового, дрожащего, на бетонный пол лестничной клетки, велел сидеть и не двигаться, а сам бросился обратно в квартиру. Входная дверь захлопнулась, когда он меня выносил. Он бил в нее плечом, как в американских боевиках, которые мы смотрели по виду. Только в фильме герой вышибает дверь с одного удара, а в реальности нужно лупить снова и снова, разбивая плечо в мясо, пока дверь не поддастся.

Я сидел в темноте и слушал. Взрыва я не слышал, а вот удары отцовского тела о дерево слышал. Глухие, страшные удары. И тихий, сдавленный мат. И вой. Где-то выла собака. Или женщина. Или сигнализация. Звуки смешались в какофонию.

А потом я услышал крик мамы. Не крик о помощи. Это был животный, утробный вопль боли. У нее были сломаны ребра и порезана рука, и когда папа попытался поднять шкаф, она закричала. Этот крик прошил меня насквозь. Я обмочился. Прямо там, на холодном бетоне, в одних трусах с трансформерами и майке с динозаврами. Теплая струйка потекла по ногам. Мне стало стыдно. В шесть лет обмочиться — это позор. Я сжался в комок, пытаюсь скрыть лужу, хотя вокруг был ад и никому не было до меня дела.

Вот такие детали обычно вырезают из героических рассказов. Ссанные штаны. Стыд. Но это и есть правда жизни. В катастрофе нет места достоинству, зато есть место базовой физиологии.

Я долго не мог простить себе этот стыд. Уже будучи взрослым, на сеансах терапии, я понял: обмочиться при виде разрушения дома нормально. Ненормально — это носить этот груз всю жизнь. Но я носил. И отец носил. Свои стеклянные пятки, которые гноились месяц. Мама носила свои ребра, сросшиеся неправильно. Мы все носили осколки того взрыва. Не только под кожей, но и в душе.

Я собираюсь написать о том, как мы выбирались. Как нас спасали успевшие выйти на улицу соседи. Как я смотрел на фасад дома и не мог понять, почему он стал похож на сломанную игрушку. Я хочу вспомнить запах газа, который перебивал запах взрывчатки. Запах аммиачной селитры, смешанный с запахом жженого пластика и человеческого пота. Запах страха. Он оказался кислым, похожим на прокисший суп.

Но, наверное, самое важное, что я хочу сделать в этой книге — это понять причины и последствия такого события. Нет, не в геополитическом смысле. Я не буду писать манифесты и искать виноватых. Террористов давно нашли и наказали. Я хочу понять, как после такого живут. Как люди продолжают ходить на работу, влюбляться, рожать детей, пить чай с лимоном, если мир однажды показал им свое истинное лицо — лицо хаоса и жестокости?

Моя семья пыталась. Мы переехали в другой дом в том же городе. Та же девятиэтажка, но в другом конце города. Печально и, одновременно, забавно, что улица, где случилось это трагическое событие, а затем улица, где мы жили после него — имели одно и тоже название.

Мама начала пить корвалол. Сначала капли, потом флаконами. Она вздрагивала от звонка в дверь и от грозы. В грозу она забивалась в ванную, садилась на пол и зажимала уши руками. Говорила, что гром похож на тот звук. Мне было обидно, что мама больше не поет, но я ничего не говорил. Дети тонко чувствуют, когда взрослого нельзя трогать.

Отец стал жестче. Он и раньше не был сентиментальным, а тут словно окаменел. Его девизом стало: «Нитьем делу не поможешь». Он заставлял меня заниматься спортом, бегать по утрам, подтягиваться. Он жил в парадигме, что удар обязательно повторится, и на этот раз он должен быть готов. Психолог сказал бы, что это типичное ПТСР. Папа говорил: «Я просто хочу, чтобы сын был сильным».

А я? Я молчал. Я стал наблюдателем. Ребенок с огромными глазами, который смотрит на мир взрослых и не может понять их странных игр. Почему мама плачет, глядя на ровную стену? Почему папа смотрит на проезжающий мимо белый фургон с такой ненавистью, что у него белеют костяшки пальцев? Ответов у меня не было. Я просто впитывал.

И вот теперь, когда мне тридцать три, я хочу проговорить это. Вытащить из себя занозу. Может быть, кому-то станет легче. Может быть, кто-то узнает себя и перестанет винить себя за мокрые штаны и застывший крик.

Я помню, как той ночью, когда нас вывели на улицу и усадили на бордюр, я поднял голову и увидел небо. Оно было чернильным, чистым. Звезды дрожали. Мне казалось, это от взрыва звезды сдвинулись со своих мест и теперь дрожат от страха.

Это была наша первая ночь новой жизни. Я хочу рассказать о ней. И о всех последующих. Я хочу рассказать, как сложно быть человеком, который однажды ночью проснулся от того, что мир перевернулся.

Я делаю глубокий вдох. Пальцы висят над клавиатурой. Пролог закончен. Теперь история.

В комнате тихо. Только жужжит кулер ноутбука. Слышите? Это тишина, которую я боюсь потерять снова. Но я шагну в этот шум памяти. Ради себя. Ради мамы. Ради папы. И ради того мальчика с совенком на подушке, у которого была одна пуговица вместо глаза, но который видел всё.

Давайте начнем с первой главы. С самого утра 1 сентября. С субботы, когда еще пели птицы и пахло гладиолусами. Во времена когда мама еще улыбалась и заплетала мне челку назад, смачивая ее водой. Когда отец шутил про шкаф.

Это будет история о жизни, которую мы потеряли, и о жизни, которую мы нашли после. Добро пожаловать в мой сентябрь. Он навсегда остался со мной.

Глава 1. Суббота



Часть 1. Утро на кухне

Саша проснулся от запаха.

Запах был тёплый, маслянистый, с чем-то сладким по краям, как будто солнце растопило сливочное масло и разлило его по всей квартире. Он лежал под одеялом, прижавшись щекой к подушке, и не открывал глаза. Ему нравилось угадывать, что происходит в доме, не глядя. Вот мама перевернула что-то на сковородке. Шлепок, шипение, снова шлепок. Вот папа прошлёпал босиком в ванную. Половица скрипнула под его пяткой, коротко и басовито. Вот вода зашумела в трубах, значит, папа моет руки.

Саша приоткрыл один глаз и тут же зажмурился. Горячий и яркий солнечный луч пробивался сквозь щель между шторами и падал прямо на подушку. Он перевернулся на другой бок и уткнулся носом в наволочку. От наволочки пахло порошком и ещё чем-то родным, может маминими духами, а может просто тем, как пахнут вещи, которые гладили тёплым утюгом.

Совёнок, который был заботливо вышит мамой Саши сбоку наволочки, смотрел на Сашу одним голубым глазом. Он был вышит таким образом, чтобы не мешаться во сне, и был как замена плюшевой игрушке, чтобы Саше спалось спокойнее. Второй глаз совёнка, чёрная дырка с торчащими нитками, оторвался ещё в августе, когда Саша крутился во сне и зацепился пальцем за пуговицу. Мама обещала пришить, но пока не успела.

Саша погладил совёнка по вышитому крылу и прошептал:

— Доброе утро. Сегодня суббота.

Он провёл пальцем по контуру крыла. Нити были гладкие и немного выпуклые, и если вести по ним медленно, получалась дорожка. Саша представил, что совёнок летит по его комнате. Над подушкой, над одеялом, над всей комнатой. Один глаз смотрел на него внимательно и чуть печально.

— Тебе, наверное, грустно без второго глаза? — прошептал Саша. — Мама пришьёт. Она всегда всё пришивает. Помнишь, у меня на коленке дырка была на штанах? Так мама так зашила, что даже папа не нашёл.

Совёнок молчал, и только нитка, торчащая из чёрной дырки, чуть дрогнула от Сашиного дыхания. Саша вздохнул и перевернулся на спину. Потолок был белый, с маленькой трещинкой в углу. Трещинка иногда напоминала реку, а иногда и молнию. Такую, как на рисунке в книжке про грозу. Саша думал, что, может быть, это и есть молния, только застывшая. Когда-нибудь она оживёт и ударит в люстру.

В коридоре снова скрипнула половица. На этот раз не басовито, а тоненько — это мама прошла из комнаты в кухню. Саша различал шаги: папины тяжёлые, с нажимом на пятку, мамины лёгкие, быстрые, как будто она всегда куда-то спешит, даже когда идти недалеко. А когда Саша сам шёл босиком, его пятки шлёпали звонко, и мама говорила: «Топаешь, как сло-нёнок».

Суббота пахла оладьями. Не кашей, которую Саша не любил. Она была скользкая и норовила убежать с ложки обратно в тарелку. Однажды Саша даже сказал папе: «Каша живая». Папа тогда рассмеялся и ответил: «Живая, но мы её всё равно съедим, мы сильнее». Не яичницей, которую папа готовил по будням. Быстро, сердито, разбивая скорлупу одним ударом ножа. Саша всегда вздрагивал от этого удара. Скорлупа разлеталась, и папа вылавливал кусочки из сковородки пальцами, шипя и дуя на обожжённую кожу. Именно оладьями. Круглыми, пышными, с хрустящим ободком по краю. Такие мама делала только в выходные.

Саша сполз с кровати. Пол был прохладный, но не холодный. Сентябрь ещё помнил августовское тепло. Пальцы ног коснулись деревянных половиц, и Саша постоял так немного, привыкая. Одна половица была чуть теплее другой. Это был та, на которую падало солнце из окна. Саша всегда наступал на неё первой, это такая игра: найди тёплое место.

Он вышел в коридор. Ковёр в коридоре был бордовый, с вытертой дорожкой посередине. Саша сто раз проходил по нему туда-сюда, и ему казалось, что он сам протоптал эту тропинку. Он шёл по ней сейчас, ставя ногу точно в середину, как канатоходец. Левая, правая, левая, правая. Если оступишься, то упадёшь в пропасть. Но Саша не оступался. Он тренировался каждое утро.

Из кухни доносилось пение.

— Ах, какая женщина, какая женщина, мне б такую-у-у

Мама пела громко и фальшиво. На высоких нотах её голос срывался в какой-то петушиный крик, но она не смущалась, продолжала выводить мелодию, растягивая слова, как будто они были резиновые. Саша остановился в дверях кухни и посмотрел на неё.

Мама стояла у плиты спиной к нему. Лёгкий халат в мелкий цветочек. Голубые лепестки на белом фоне, Саша знал этот рисунок столько, сколько сам себя помнил. Ему казалось, что халат был всегда, висел на крючке в ванной, лежал на стуле у маминой кровати, пах стиркой и уютом. Чёлка прихвачена заколкой-крабиком, чтобы не лезла в глаза. Лопатка в правой руке. Мама поддевала оладьи, переворачивала их в воздухе и ловила сковородой. Не всегда удачно: одна оладья лежала на плите, съехав набок, и мама сгребла её обратно, тихо выругавшись:

— Вот зараза

— Мам, ты чего поёшь так громко?

Мама обернулась. Лицо у неё было покрасневшее, весёлое, на лбу маленькая капелька пота. Она откинула чёлку со лба тыльной стороной ладони, которой держала лопатку, и получилось неловко, чёлка снова упала на глаза. Мама дунула на неё снизу вверх, и чёлка на секунду взлетела и снова опустилась. Саша хихикнул.

— А чего шептать-то? Всё равно никто не слышит!

— Я слышу. И соседи слышат.

— Вот и пусть слушают! — мама взмахнула лопаткой, и капля масла слетела на пол. — Я сегодня в настроении, Сашка. В настроении, понимаешь? Когда в настроении, можно петь громко. Хоть на весь дом.

— А что такое «в настроении»? — спросил Саша, прислоняясь плечом к дверному косяку. Косяк был прохладный и гладкий, краска на нём чуть облупилась снизу, и Саша ковырял её пальцем.

— Ну — мама задумалась, переворачивая очередную оладью. Та шлёпнулась ровно, масло зашипело довольно. — Это когда всё хорошо. Солнце светит, оладьи не подгорают, папа дома, ты проснулся. И вот хочется петь. Понимаешь?

— Ммм, — кивнул Саша. — Это как когда я бегаю во дворе и кричу «ура».

— Вот! Именно! Ура! — мама подхватила и засмеялась. Смех у неё был звонкий, как колокольчик, и Саша любил этот смех больше всего. — Ура, Сашка! Ура, что суббота!

— Ура! — закричал Саша уже в полный голос, и эхо заметалось по коридору.

Из ванной выглянул папа с зубной щёткой во рту и поднял брови. Белая пена свисала с уголка губ, и он был похож на моржа. Папа ничего не сказал, только погрозил пальцем и скрылся обратно. Саша и мама переглянулись и прыснули.

— Видишь, папа тоже в настроении, — шепнула мама. — Просто у него настроение тихое.

— А у меня какое? — спросил Саша.

— У тебя громкое. В меня.

Саша всё равно не совсем понимал, что такое «в настроении», но кивнул. Ему нравилось, когда мама такая. Шумная, быстрая, с блестящими глазами. Она повернулась обратно к плите и запела снова, ещё громче:

— Фаина, Фаина, Файна-на

— А кто такая Фаина? — спросил Саша, забираясь на табуретку.

— Тётя такая, — не оборачиваясь, ответила мама. — В песне. Очень красивая, наверное.
— Красивее тебя?

Мама замерла на секунду, потом обернулась и пристально посмотрела на Сашу. В глазах у неё запрыгали смешинки.

— Сашка, ты мне льстишь. Но спасибо. Нет, не красивее.

— Я так и знал, — серьёзно сказал Саша. — В песнях всё врут.

— Ну, не всё, — мама снова повернулась к плите. — Иногда в песнях правда. Но сегодня точно врут.

Табуретка была высокая, с потрескавшейся краской на сиденье, когда-то зелёной, теперь облупившейся до дерева. Саша провёл ладонью по сиденью, оно было шершавое и тёплое. Если надавить ногтём на край облупившейся краски, она отходила маленькой чешуйкой. Саша сегодня снова отковырнул одну такую чешуйку.

Он встал коленками на сиденье и облокотился о стол. На столе уже стояла тарелка с горкой оладий. пышных, румяных, с пузырьками масла в ямочках. Рядом розетка со сметаной, белой и густой, и баночка малинового варенья. Варенье просвечивало рубиновым, и в нём плавали тёмные точки. Мама говорила, что это косточки, но Саша всегда переживал, что это маленькие жучки.

— Мам, а помнишь, мы прошлым летом малину собирали? — спросил Саша, разглядывая баночку. — У бабушки на даче. И я весь в малине был.

— Помню, — мама фыркнула. — Ты не столько собирал, сколько ел. Полную корзинку обещал, а принёс горсточку.

— Она вкусная была! — возмутился Саша. — Я не виноват, что она в рот сама просилась.

— Сама просилась, как же, — мама поставила перед Сашей кружку. Кружка была его любимая с динозавриком. Динозаврик был зелёный, с длинной шеей и маленькой головой, и Саша точно знал, что это брахиозавр, потому что папа объяснил: брахиозавры ели листья с верхушек деревьев, а тираннозавры ели всех подряд. Саша не любил тираннозавров.

— Брахиозавры хорошие, — сказал Саша, глядя на кружку. — Они никого не едят.

— Конечно, хорошие, — согласилась мама. — С такой-то шеей. Попробуй кого-нибудь съешь, когда голова высоко, а тело далеко.

— А тираннозавры плохие, — добавил Саша. — Они бы даже оладьи украли.

— Оладьи? — мама засмеялась. — Ну, знаешь, от тираннозавра я бы и сама не отказалась. Бегает быстро, всех пугает, цены бы ему не было на рынке. Стоял бы за мной в очереди за курицей, и все бы расступались.

Саша представил тираннозавра в очереди за курицей, с сумкой в маленьких лапках, и захихикал. Тираннозавр стоял и нервно стучал хвостом по полу, а тётя Клава из соседнего подъезда косилась на него и прижимала к себе авоську.

— Чай или молоко? — спросила мама, подражая официантке из ресторана, куда они ходили прошлой зимой и заказывали гренки с сыром и грибами. Она даже плечи расправила и подбородок подняла, точь-в-точь как та девушка с блокнотиком.

Саша помнил тот ресторан. Там было тепло и пахло вкусной едой. Мама весь вечер тогда улыбалась, пока наблюдала, как сын с удовольствием кушает гренки, которые она купила на последние в то время деньги.

— Чай. С сахаром. Две ложки.

— Ого, две ложки! Ты у меня сладкоежка.

Мама насыпала сахар, размешала, звякнув ложкой о стенки кружки. Саша любил этот звук — дзынь-дзынь-дзынь — чистый и уютный. Он взял оладью руками. Она была горячая, маслянистая, пальцы сразу стали блестящими, и макнул в сметану. Потом в варенье другой стороной. Откусил. Тесто было мягкое, дырчатое, с хрустящей корочкой по краям, и варенье смешивалось со сметаной в кисло-сладкое.

— Вкусно? — спросила мама.

— Угу, — жуя и улыбаясь промышчал Саша.

— Жуй нормально, — мама легонько щёлкнула его по носу пальцем, испачканным в муке. На кончике носа осталось белое пятнышко. — А то будешь как тот хомяк, которого вам в живом уголке в садике показывали.

— Я не хомяк! — Саша потёр нос рукавом, размазывая муку ещё больше. — Хомяки маленькие.

— А ты у нас большой. Целый первоклассник.

Саша снова откусил оладью и задумался. Слово «первоклассник» давно звучало со всех сторон. Мама говорила, папа говорил, даже бабушка по телефону сказала: «Ну что, первоклассник, готов?» Саша пока не знал, готов ли. Вроде готов. А вроде и нет. В садике всё было понятно, а школа — это что-то новое, большое, с длинными коридорами и строгими учителями. Саша представлял учительницу высокой, в очках и с указкой. Указка была волшебная: кого коснётся, тот должен отвечать.

Из коридора донеслось бормотание. Папа возился с лампой. Саша повернул голову и увидел его через открытую дверь: папа стоял на табуретке в прихожей, задрал голову к потолку, и пытался вкрутить лампочку в старый плафон. Плафон был жёлтый от времени, с трещиной сбоку, и патрон болтался, не давая лампочке зацепиться за резьбу.

— Да что ж ты, зараза — папа дунул на цоколь, как дуют на горячий чай, и снова потянулся к плафону. — Не вкручивается, хоть тресни.

— Пап, а почему ты на неё дуешь? — крикнул Саша. — Она же не горячая.

— Потому что! — папа даже не обернулся. — На лампочки всегда надо дуть. Такая традиция. Ты что, не знал?

— Не знал, — честно ответил Саша. — А зачем?

— Затем, что если не дуть, она не вкрутится. Проверено наукой.

— Какой наукой?

— Лампочковедением, — папа хмыкнул. — Изучай, сын, пока я жив.

Мама фыркнула в ладонь и покачала головой. Саша не понял, шутит папа или нет. Иногда папа говорил такие вещи с серьёзным лицом, что невозможно было догадаться. Однажды он целый час рассказывал, что в их подвале живёт дракон, который ест старые газеты. Саша почти поверил и даже попросил показать. Папа вздохнул и сказал: «Дракон улетел в отпуск, вернётся в следующем году». Мама потом долго смеялась, а Саша ещё неделю заглядывал в подвальное окошко со двора.

— Валь, ты есть иди! — крикнула мама. — Остынет же!

— Сейчас, сейчас, Олесь У меня тут контакт отходит. Без света сидеть ведь не хочешь?

— А мы вечером при свечах посидим, романтично!

Папа хмыкнул и чуть не уронил лампочку, но поймал у самого пола, покачал головой. Движение было такое ловкое. Лампочка уже летела вниз, а папина рука метнулась и подхватила её у самого ковра. Как фокусник. Саша даже рот открыл.

— Ты видела? — спросил он маму. — Он её поймал!

— Видела, — мама кивнула. — У него реакция, как у вратаря. В молодости в футбол играл, до сих пор не разучился.

— А почему перестал?

— Потому что встретил меня, — мама улыбнулась. — И на футбол времени не осталось. Пришлось выбирать: футбол или я.

— И он выбрал тебя?

— Выбрал, — мама обернулась к Саше и подмигнула. — Потому что я лучше футбола.

Саша смотрел на папу. Папа был высокий, и когда он стоял на табуретке, его голова почти касалась потолка. На нём была старая клетчатая рубашка с закатанными рукавами и

домашние штаны с пузырями на коленях. Пузыри эти мама называла «коленки-верблюдки», и папа каждый раз обижался, но не сильно. Он шурился, подносил лампочку к глазам, вертел её в пальцах, и Саша подумал, что папа похож на часовщика из мультика, только чинит не часы, а свет.

— Пап, а ты можешь часы починить? — спросил Саша.

— Какие часы? — папа удивлённо обернулся, чуть не потеряв равновесие на табуретке.
— У нас что, часы сломались?

— Нет, но если сломаются.

— Ну — папа задумался. — Часы — это сложно. Там шестерёнки, пружинки. У меня пальцы толстые, не пролезут. А вот будильник я однажды чинил.

— И как?

— Он теперь звонит на полчаса позже, — папа вздохнул. — Но я считаю, это даже лучше. Хочешь встать в семь, то ставь на полседьмого, и всё работает.

Мама прыснула со смеху и замахала на папу лопаткой:

— Никаких будильников ему не давай! У нас один будильник уже «отремонтированный» в кладовке пылится.

— Он не пылится, он ждёт своего часа! — возразил папа. — Буквально.

Саша не совсем понял шутку, но на всякий случай улыбнулся. Ему нравилось, когда папа и мама так разговаривали. Быстро, весело, перекидываясь словами, как горячей картошкой. Иногда они начинали спорить о чём-нибудь неважном. Кто забыл выключить свет в ванной или кто доел вчерашний суп, и Саша сначала пугался, а потом понимал: они не ругаются, они просто так разговаривают. Громко.

— Вкрутилась! — объявил папа и спрыгнул с табуретки. Табуретка под ним жалобно скрипнула, и папа похлопал её по сиденью, как будто извиняясь. Лампа загорелась тусклым, жёлтым, но ровным светом. — Порядок. Теперь можно и поесть.

Он зашёл на кухню, потрепал Сашу по голове, ладонь была тёплая и пахла металлом, затем сел напротив. Саша тут же почувствовал запах. Железный, чуть маслянистый, как от гаечного ключа или монет. Папины руки всегда так пахли после ремонта. Однажды Саша спросил почему, и папа ответил: «Это запах труда, сынок. Когда вырастешь, тоже будешь так пахнуть». Саша не был уверен, что хочет пахнуть трудом, но на всякий случай запомнил.

Мама тут же подвинула ему тарелку.

— Ешь давай. Герой-лампочковкручиватель.

— Герой, — согласился папа и взял оладью. Он посмотрел на маму с любовью, и откусил сразу половину. — А знаешь, Сашка, если бы я не вкрутил эту лампочку, мы бы так и сидели в темноте вечером.

— Мама сказала при свечах, — напомнил Саша.

— При свечах — это романтика, — папа взял в рот вторую половину оладьи и заговорил с набитым ртом: — А романтика — это когда ты хочешь сидеть в темноте. А когда не хочешь — это называется «сломанная лампочка». Чувствуешь разницу?

— Чувствую, — сказал Саша. — Романтика — это по желанию. А сломанная лампочка — это когда тебя заставляют.

— Во-о-от! — папа поднял палец вверх, на пальце блеснула капелька масла. — Зри в корень, сын. Философ растёт.

— Он у нас ещё и стратег, — добавила мама, ставя перед папой кружку с чаем. — Вчера ранец три раза пересобрал. На всякий случай.

Саша удовлетворённо кивнул и допил чай. На дне кружки остались сахарные крупинки, и он попытался выудить их языком, но не достал. Брахиозавр на кружке смотрел на него одобрительно. У него-то язык был длинный, он бы достал. Саша показал кружке язык и отставил её в сторону.

Ему было хорошо. Солнце било в кухонное окно, и на полу лежал жёлтый прямоугольник света. В прямоугольнике танцевали пылинки. Саша любил за ними наблюдать, они кружились, как снег, только медленнее и теплее. Он протянул руку и попытался поймать одну ладонью. Пылинка ускользнула, и Саша поймал только воздух. Мама наливала себе чай, папа жевал, лампа горела, варенье блестело.

— Мам, а почему пылинки танцуют? — спросил Саша, глядя на солнечный прямоугольник.

— Это не пылинки танцуют, это воздух движется, — мама села напротив и обхватила кружку обеими ладонями. — Тёплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз, и вот они кружатся.

— Как будто они живые, — сказал Саша.

— Может, и живые, — неожиданно согласился папа. — Кто их разберёт. Может, у них своя жизнь, свои дела. Вот эта пылинка, — он ткнул пальцем в воздух, — спешит на работу. А эта в магазин за молоком.

— А эта в школу, — подхватил Саша. — Как я.

— Точно, — папа кивнул. — Видишь, как торопится. Опаздывает, наверное.

Саша проводил «школьную» пылинку взглядом. Она поднялась к потолку и пропала из виду, наверное, уже села за парту.

— Мам, а завтра воскресенье? — спросил Саша, хотя знал ответ.

— Воскресенье.

— А послезавтра школа?

— Школа, — мама улыбнулась. — Я уже форму погладила, но надо будет только букет завтра с утра купить. Ты у нас самый готовый первоклассник во всём дворе.

— А какой букет? — оживился Саша. — Из чего?

— Из гладиолусов, наверное. Или из астр. Я ещё не решила. Завтра пойдём на рынок и выберем. Хочешь со мной?

— Хочу! — Саша подпрыгнул на табуретке. — Я сам выберу! Можно красные? Или лучше жёлтые? А может, и красные, и жёлтые?

— Можно всё, что угодно, — мама засмеялась. — Хоть радугу соберём. Будет самый красивый букет во всей школе.

Саша расправил плечи. Первоклассник. Это слово звучало важно, как «космонавт» или «капитан». Он представил, как войдёт в класс, сядет за парту, откроет тетрадь. Пенал с динозаврами уже лежал в ранце. Прописи в косую линейку. Цветные карандаши, шесть штук, новенькие, остро заточенные. Папа точил их вчера вечером, сидя на балконе, и стружка падала на газету, закручиваясь спиральками. Саша потом собрал несколько штук, они были похожи на маленькие деревянные цветы.

— Пап, а ты в школе как учился? — спросил Саша.

— По-разному, — папа откинулся на спинку стула. — Иногда хорошо, иногда не очень. Но больше хорошо. Я же ответственный был, как ты.

— А двойки получал?

— Бывало, — папа вздохнул, но глаза его смеялись. — Один раз по математике. Я тогда неправильно задачку решил, про поезда, которые едут навстречу друг другу. У меня они проехали мимо и не встретились.

— Как это?

— Ну, я перепутал условия, где какой поезд едет. Один в Москву, другой в Ленинград, а я их обоих в Москву отправил. Вот они и не встретились, в одну сторону же катились.

— И что сказала учительница? — Саша даже рот приоткрыл от любопытства.

— Сказала, что я гениальный диспетчер, но плохой математик, — папа развёл руками. — А потом я исправил. Потому что математика — это важно. Без неё никуда.

— Даже лампочку не вкрутить? — хитро спросил Саша.

— Лампочку особенно! — папа поднял указательный палец. — Лампочка — это физика, электричество, сопротивление материалов Я, когда её вкручивал, три формулы в уме решил.

— Врёт он, — мама легонько толкнула папу плечом. — Никаких формул. Просто дунул посильнее, и всё.

— Дуновение — это тоже физика, между прочим, — папа сделал серьёзное лицо. — Аэродинамика.

Саша слушал их и улыбался. Ему нравилось, как они так разговаривают. Их голоса переплетались, как нитки в совёнке на наволочке. Получался узор, тёплый и уютный.

— А можно ещё раз ранец собрать? — спросил он.

— Ты его уже три раза собирал, Саш, — мама засмеялась. — Он не убежит, честное слово.

— Я просто проверить. Вдруг я что-то забыл.

— Что ты мог забыть? Там всё по списку.

— Вдруг карандаш один выпал? — не сдавался Саша. — Или ластик потерялся.

— Ластик не потерялся, — мама покачала головой. — Я вчера сама смотрела. Но если хочешь — проверяй. Только завтра. А сегодня суббота, планов много: бабушка придёт, пойдёте гулять.

— Бабушка Нина?

— Ага. Обещала к десяти. Так что доедай и умываться.

Саша запихал в рот остаток оладьи и запил чаем. Чай был сладкий, с привкусом малины — это от варенья, которое осталось на губах. Он вытер рот рукавом пижамы, и мама цокнула языком, но не рассердилась. Только погрозила пальцем, тем самым, на котором до сих пор белело пятнышко муки.

— Саш, ты как поросёнок, честное слово. Послезавтра в школу пойдёшь, там рукавом не вытирайся хотя б, там же салфетки есть.

— Я буду вытираться салфеткой, — пообещал Саша.

— И не чавкай.

— И не чавкаю.

— И не крутись на стуле.

— Мам! — Саша рассмеялся. — Я всё запомню! Я уже взрослый!

— Конечно, взрослый, — папа отодвинул тарелку и откинулся на спинку стула. Стул скрипнул под ним, и папа похлопал себя по животу. — Ты у нас вообще молодец. В школе всем покажешь, как надо. Салфетки — это по-взрослому. Я вот до сих пор иногда забываю.

— Он забывает, — подтвердила мама. — Я за ним два года следила, пока он не привык.

— Зато теперь я образцовый муж, — папа поклонился, не вставая со стула. — Салфетки, вилки-ножи, всё как положено.

— Угу, а вчера кетчуп с рубашки оттирал, — напомнила мама.

— Это был не кетчуп, это был томатный соус. Разные вещи.

— Один хрен — пятно.

Саша слушал их перепалку и хихикал. Потом спрыгнул с табуретки и побежал в ванную. По дороге он наступил на скрипучую половицу, ту самую, басовитую, и ему показалось, что половица сказала ему: «В школу, в школу». Саша остановился на секунду и прошептал половице в ответ:

— Я знаю. Послезавтра.

Половица молчала, но Саше показалось, что она одобрительно скрипнула. Или это просто дом дышал. Дома тоже умеют дышать, особенно по утрам, когда солнце нагревает крышу и металл чуть расширяется.

В ванной пахло зубной пастой и папиным одеколоном. На зеркале ещё не высохли капли воды, папа умывался и брызгался, как всегда. Саша придвинул маленькую скамеечку к раковине, встал на неё и посмотрел на себя в зеркало. Из зеркала на него глядел мальчик с растрёпанными волосами и белым пятном от муки на носу. Глаза у мальчика были голубые, как у мамы. Саша пошевелил бровями, мальчик в зеркале тоже пошевелил. Высунул язык, мальчик высунул в ответ. Саша рассмеялся.

— Сашка, ты там не утонул? — донёлся мамин голос из кухни.

— Нет! — крикнул Саша. — Я умываюсь!

— С мылом?

— С мылом!

Саша взял мыло, круглое, розовое, с выдавленным на боку цветочком, и начал намыливать руки. Пена была белая и пушистая, как облака, и пахла чем-то сладким, не то земляничкой, не то жвачкой. Саша надул из ладоней пузырь, и тот лопнул, обдав его мелкими брызгами. Мыльная капля попала на нос, и Саша чихнул. Потом сполоснул руки и умыл лицо. Затем приступил к чистке зубов мятной недавно купленной зубной пастой. Ему не нравилась такая паста, он больше любил со вкусом жевачки. После Саша вытерся полотенцем и снова посмотрел в зеркало. Теперь мальчик в зеркале был чистый, румяный, с мокрой чёлкой, прилипшей ко лбу.

— Готов к школе? — спросил Саша у своего отражения.

Отражение кивнуло.

— И я готов, — сказал Саша и прыгнул со скамеечки.

Когда он вернулся в комнату, мама уже убирала со стола, а папа сидел у окна и листал газету. Газета шуршала, как осенние листья во дворе. Саша подошёл к папе и заглянул через плечо. На первой полосе была фотография большого дома с разбитыми окнами, а под ней много мелких букв, которые Саша ещё не умел читать. Только отдельные слова: «город», «школа», «улица». Но одно было заметнее других — «теракт». Саша не знал его, но оно встречалось в газете чаще других.

— Пап, а ты научишь меня читать газеты? — спросил Саша.

— Конечно, научу, — папа опустил газету и посмотрел на Сашу поверх очков. Очки у папы были только для чтения, и в них он становился похож на профессора. — Сначала выучишь буквы, потом слова, а потом и газеты будешь читать. Но газеты скучные, лучше книжки.

— А какие книжки?

— Разные. Про путешествия, про зверей, про дальние страны. Про динозавров. Хочешь про динозавров?

— Хочу! — Саша подпрыгнул. — Про брахиозавров!

— Будет тебе про брахиозавров, — папа потрепал его по голове. — В библиотеку сходим, выберем.

— А сегодня?

— Сегодня гулять с бабушкой, — напомнила мама из кухни. — И вообще, не торопи время. Всё будет: и школа, и книжки, и динозавры. А пока иди одевайся. Бабушка скоро придёт.

Саша побежал в свою комнату. На стуле висела его одежда на сегодня. Джинсы и футболка с тираннозавром. Тираннозавра Саша не любил, но футболку любил. Её подарила бабушка Нина на день рождения, и Саша носил её, потому что нельзя обижать подарок. Он сдёрнул футболку со стула, натянул через голову и запутался в рукаве. Пришлось позвать маму.

— Застрял? — мама вошла и помогла ему выпутаться. — Вечно ты спешаешь. В школе главное не спешить. Всё делай спокойно, не торопясь. Учительница будет говорить — слушай. Спрашивает — отвечай. Упала ручка — подними. И ничего не бойся.

— Я не боюсь, — сказал Саша, хотя в животе у него на секунду что-то ёкнуло. Как будто маленький мячик подпрыгнул.

— Вот и правильно, — мама присела перед ним на корточки и поправила воротник футболки. Глаза у неё были серьёзные и тёплые. — Школа — это интересно. Узнаешь много нового, найдёшь друзей. А если что-то не получится, мы с папой поможем. Договорились?

— Договорились, — Саша кивнул и обнял маму за шею. От неё пахло оладьями, мылом и чем-то родным. Тем самым запахом, с которого началось утро.

Сейчас я понимаю: это был последний нормальный завтрак. Последний раз, когда мама пела, а папа ворчал на лампочку. Через сутки от этой кухни останутся только осколки кружки с динозавриком и запах газа, который перебьёт все остальные запахи на много лет вперёд. Но в то утро я не чувствовал ничего, кроме вкуса варенья и желания скорее стать первоклассником.

Часть 2. Бабушка

Ровно в десять в дверь позвонили. Три коротких звонка, один за другим, с одинаковыми промежутками, так звонила только бабушка Нина. Саша как раз сидел в своей комнате и рассматривал новый пенал с динозаврами на крышке. Пенал пах клеёнкой и типографской краской, внутри лежали две ручки и заточенные папой разноцветные карандаши. Саша бросился открывать, выскочил в коридор, поскользнулся на ковре и проехал последние полметра на носках, врезавшись в дверь плечом. Внутри что-то глухо стукнуло, и мама тут же отозвалась:

— Не спеши, не спеши. Дверь не убежит. И плечо не казённое.

— Я не специально, — пробормотал Саша, потирая ушиб. — Ковёр скользкий.

— Ковёр уже десять лет как скользкий, а ты всё никак не запомнишь.

Но Саша уже не слушал. Он пытался повернуть ручку. Дверная ручка была тугой, старая латунь с вытертым до блеска узором. Мама сто раз просила папу смазать замок, но папа всё время забывал купить машинное масло. Саша навалился на ручку всем телом, упёрся ногой в косяк, дёрнул, и дверь распахнулась с протяжным скрипом. В коридор вошла бабушка.

Сначала вошёл запах. Бабушка Нина пахла валокордином, мятными леденцами и ещё чем-то старым. Не плохим, а просто старым, как пахнут книги в библиотеке или пыль на чердаке. Этот запах вьелся в её одежду.

У бабушки были седые волосы, уложенные волнами под платок. Она ходила в парикмахерскую раз в месяц и всегда возвращалась оттуда с этой самой укладкой, твёрдой, как шлем, потому что «мастерша» (как говорила бабушка Нина) не жалела лака. У бабушки были морщины на лбу и вокруг рта, глубокие, как трещины на старой картине. Саша любил трогать эти морщины пальцем, когда бабушка разрешала. Они были как складочки на бумаге, которую согнули и снова разгладили, только до конца разгладить уже не получалось.

— Ну, здравствуй, внучок, — бабушка наклонилась и поцеловала Сашу в макушку. Губы у неё были сухие и прохладные. — А ну, покажь руки.

Саша вытянул руки ладонями вверх. Он знал этот ритуал: бабушка всегда проверяла, чистые ли у него руки и не грызёт ли он ногти. Бабушка осмотрела ладони, перевернула их тыльной стороной, проверила ногти. Провела шершавым пальцем по краю каждого ногтя, и Саша поёжился, было щекотно.

— Чистые. Молодец. А то некоторые ходят с трауром под ногтями, и ничего, не стыдно. Обуйся, пойдём. Олеса, нам до обеда?

Мама вышла из кухни, вытирая руки полотенцем. Полотенце было в красную и белую клетку, любимое мамино, которое бабушка привезла ещё когда-то из Белоруссии, когда ездила к сестре. От него пахло стиральным порошком и чем-то съестным, потому что мама только что жарила оладьи.

— До обеда, до обеда, — сказала мама. — Только Сашке шарф возьмите, если ветер поднимется. Он у нас горло бережёт к школе.

— Какой шарф, Олесь? — бабушка всплеснула руками. — Сентябрь на дворе, не октябрь. Ты его в шарф закутай, он до школы доехать не успеет — сопреет.

— Ну всё равно. Вдруг похолодает. Сентябрь месяц обманчивый. Утром солнце, днём дождь, вечером ветер. Я тебе говорю, мам, возьмите шарф.

— Ох, Олесь, ты как была перестраховщица, так и осталась. Помню, в детстве ты куклу на прогулку выносила, так у неё и шапка, и шарф, и варежки, хотя кукла пластмассовая. Ей-богу.

Мама улыбнулась и ничего не ответила. Она сложила руки на груди и прислонилась плечом к дверному косяку, глядя на Сашу с какой-то особенной нежностью, какая бывает только у мам, когда они смотрят, как их дети обуваются перед прогулкой.

Саша начал обуваться. Ботинки были новые, купленные специально к школе, но мама разрешила их немного разносить, «чтобы ноги привыкли». Они стояли в прихожей на газетке и блестели, как два маленьких чёрных автомобильчика. Саша взял левый ботинок и заглянул внутрь, проверяя, нет ли там жука или камешка. Внутри пахло кожей и картоном. Он натянул левый ботинок, потом правый, завязал шнурки. Шнурки были белые, скользкие, и узел получился кривой, одна петелька больше другой.

— Дай поправлю, — бабушка наклонилась, но Саша отстранился.

— Я сам.

— Сам так сам. В школе тебя всё равно научат, там учительница строгая, она тебе не бабушка. За каждый кривой шнурок будет замечание в дневник.

— А у меня нет дневника, — сказал Саша.

— Будет. Всё у тебя будет. И дневник, и прописи, и учебник по арифметике. Обулся? Молодец. Сойдёт. Пойдём.

Они вышли в подъезд. Дверь за ними закрылась тяжело, с чмокающим звуком, потому что папа приклеил по периметру резиновый уплотнитель, чтобы не дуло. В подъезде пахло сыростью и кошками. На втором этаже жила старушка с четырьмя кошками, и запах от них поднимался по лестнице до самого верха, смешиваясь с запахом побелки, влажной штукатурки и старого дерева. Лампочка на площадке мигала уже неделю, и никто её не менял. Она вспыхивала и гасла, вспыхивала и гасла, и тени на стенах дёргались, как живые.

— Ба, а почему лампочку не меняют? — спросил Саша.

— Потому что электрик человек занятой. Или ленивый. Или и то и другое. Не спотыкайся.

Саша считал ступеньки, спускаясь: семь, восемь, девять. Он всегда считал ступеньки, потому что, если считать, спускаться было не скучно. На десятой ступеньке была трещина, в которую Саша всегда наступал левой ногой — ритуал. Если наступить правой, то случится что-то плохое. Сегодня он случайно в спешке наступил правой. Саша замер на секунду, сердце стукнуло сильнее, но он подумал: «Может, пронесёт? Бабушка же рядом». Он взял бабушку за руку, и они пошли дальше.

— Ты чего замер? — спросила бабушка.

— Ничего. Ступенька просто.

— Ступенька как ступенька. Трещина. Тут ей сто лет уже, этой трещине. Я ещё когда к вам в гости первый раз пришла — она была.

— Правда?

— Правда. Старые дома трескаются, как старые люди. Ничего, стоят.

Они спустились на первый этаж, и бабушка толкнула тяжёлую подъездную дверь. Та открылась с тем же протяжным скрипом, что и домашняя, будто все двери в этом доме были настроены на одну ноту.

Во дворе солнце уже поднялось над крышами. Двор-колодец, так его называл папа. Девятиэтажные дома стояли квадратом, серые, с облупившейся местами штукатуркой, и небо над ними было как синий платок, который натянули и закрепили по углам. По краям этого платка

белели облака, тонкие и прозрачные, как марля. В центре двора детская площадка: качели, горка, песочница. Качели скрипели, даже когда на них никто не качался. Просто ветер трогал сиденье, и оно раскачивалось туда-сюда, как маятник.

— Ветер всё-таки есть, — заметила бабушка. — Мама твоя права была. Про шарф.

— Я не замёрзну, — сказал Саша. — Смотри, солнце.

— Солнце греет, ветер обдувает. Одно к одному, глядишь, и простуда. Ладно, идём.

Бабушка взяла Сашу за руку. Ладонь у неё была сухая и крепкая, с твёрдыми бугорками на пальцах — мозолями. Саша знал эти мозоли с самого раннего детства. Они появились от швейной машинки, на которой бабушка работала на фабрике, и от иголки, и от того, что она всю жизнь что-то шила, перешивала, штопала. Бугорки были твёрдые, как маленькие камешки, и Саша любил их трогать.

— Куда пойдём? — спросила бабушка, оглядывая двор. — На площадку или в соседний двор?

— В соседний! — тут же сказал Саша. — Там деревья! И Лёшка, наверное, уже там.

— Твой Лёшка уже, наверное, все ветки на том дубе пересчитал. Он раньше тебя выходит.

— Потому что у него будильник! — Саша подпрыгнул на ходу. — Ему мама купила будильник с петухом. Петух орёт в семь утра, и Лёшка просыпается.

— А ты бы хотел будильник с петухом?

— Нет. Я хочу с динозавром. Чтобы он рычал, как настоящий. И когти, чтобы вот так, — Саша отпустил бабушкину руку и начал размахивать ладонями в разные стороны, — Вжух-вжух-вжух.

— Ну, будильник с когтями — это ты загнул, — бабушка усмехнулась. — Таких не бывает.

— А вдруг бывают? Может, в Москве бывают.

— В Москве всё бывает. Только денег не напасёшься.

Они пошли через двор. Прошли мимо песочницы, где рылись два малыша с лопатками. Песок был влажный после вчерашнего дождя, и лопатки оставляли в нём чёткие следы. Малыши были заняты делом. Один копал яму, второй насыпал рядом горку. Оба чумадые, в одинаковых панамках, и Саша подумал, что это, наверное, братья-близнецы (Ванька и Гришка), которых он иногда видел на площадке. Прошли мимо лавок, на одной сидел кто-то в серой кепке, надвинутой на глаза, и Саша не разобрал, кто это. Кепка была низко, лицо скрыто, и торчал только подбородок с седой щетиной. Саше стало немного не по себе, и он прибавил шаг. Прошли мимо горки, с которой он съезжал прошлым летом и порвал штаны на попе. Мама потом зашивала джинсы синими нитками, и на попе остался шрам, похожий на зигзаг молнии. Горка блестела на солнце, металлический скат был отполирован до зеркального блеска сотнями детских штанов.

— Ба, а помнишь, как я штаны порвал? — спросил Саша.

— Такое разве забудешь. Ты ревел на весь двор, думал, мама заругает.

— А она не заругала.

— Потому что она у тебя добрая. А меня бы в твоём возрасте выпороли за такие дела. Штаны в послевоенное время — это ценность была, не то что сейчас. Сейчас пошёл в магазин, купил. А тогда

— А тогда что?

— А тогда сначала ткань достань, потом раскрой, потом сшей. И всё руками, машинка-то не у каждого была. Ладно, не отставай.

И тут Саша увидел фургон.

Он стоял у четвёртого подъезда. Белый, большой, с тупым носом. Припаркован криво, левые колёса заехали на бордюр, правые остались на асфальте, и весь фургон от этого казался перекошенным, как будто он присел на одно колено. На боку рыжее пятно, похожее на карту

Австралии, которую папа показывал в атласе. Пятно было большое, с рваными краями, и вокруг него краска пошла пузырями. Номера грязные, заляпанные грязью так, что не прочитывать. Только верхняя половинка буквы «А» торчала из-под слоя засохшей глины.

Саша остановился. Фургон был незнакомый. Он знал все машины во дворе, все до единой: красный «жигуль» дяди Бори с наклейкой «Дети» на заднем стекле, зелёную «шестёрку» тёти Гали с треснутым зеркалом, которое она замотала зелёной изолентой, синий «москвич» Степана из третьего подъезда, у которого всегда был открыт багажник, потому что замок сломался. А этот белый Откуда он? Саша наморщил лоб и попытался вспомнить, видел ли он его раньше. Нет, не видел. Он точно не видел.

— Ба, что это за машина? — спросил Саша и потянул бабушку за рукав.

Бабушка остановилась, прищурилась, разглядывая фургон. Она чуть подалась вперёд, будто хотела получше рассмотреть номер или водителя в кабине, но стёкла фургона были мутными, тонированными, и за ними ничего не угадывалось. Поджала губы, так она всегда делала, когда видела что-то, что ей не нравилось.

— Вот поставили колымаг, ни пройти ни проехать. И откуда у людей деньги на такие машины? Понаехали.

— А что внутри? — Саша уже не тянул, а дёргал бабушку за руку.

— Да ничего хорошего, Сашенька. Барахло какое-нибудь. Может, мебель перевозят. А может, ещё что. Пойдём отсюда, тут бензином воняет.

— А почему бензином?

— Потому что машина на бензине ездит, вот и воняет. Ты что, не знал?

— Знал. Но другие машины так не пахнут.

И правда, вокруг фургона стоял запах бензина. Резкий, как будто кто-то вылил канистру прямо на асфальт. Саша наморщил нос. Бензин пах остро, щипал в горле, забирался в нос и оставался там, перебивая даже бабушкин валокордин. И к этому запаху примешивался ещё какой-то сладковатый, непонятный. Как клей или краска. Или как жидкость для снятия лака, которую мама держала на верхней полке в ванной и не разрешала трогать.

— Ба, а почему он белый? — спросил Саша.

— Потому что покрасили так, — бабушка уже тянула его за руку, уводя от фургона. — Машины красят в разные цвета. В красный, в синий, в белый. В жёлтый даже красят, видела я такси.

— А зачем? — Саша упирался, ему хотелось постоять ещё, посмотреть.

— Чтобы красиво было. Чтобы один от другого отличался. Вот ты же не хочешь, чтобы все люди были на одно лицо? Так и машины. Всё, Саш, пойдём. Ты же в соседний двор хотел.

— А этот фургон чей? — Саша всё ещё оглядывался.

— Понятия не имею. Может, приезжих каких-нибудь. Может, ремонтники. А может, и просто так стоит. Сейчас брошенных машин знаешь сколько? Бросают прямо во дворах, и никто их не забирает.

— Как это бросают? — Саша даже остановился. — Машину? Совсем?

— Совсем. Бывает, хозяин уезжает, а машину девать некуда. Или ломается она, а чинить дорого. Вот и стоят такие, ржавеют. Но эта не ржавая. У этой только пятно.

Саша оглянулся на фургон ещё раз. Тот стоял молча, тускло поблёскивая боком, и ржавое пятно на нём было как синяк. Как будто фургон ударился обо что-то, и теперь у него болит. Саша представил, что внутри коробки. Большие картонные коробки, перевязанные верёвками. А в коробках что? Может, игрушки. Может, целый ящик «биониклов». Тех, которых ему не купили на день рождения, потому что они дорогие. Или книжки с картинками. Или шоколадки в золотой фольге. В детстве все закрытые машины — сокровищницы.

— Ба, а может, там подарки? — спросил он с надеждой.

— Какие подарки? — бабушка даже не обернулась. Она целеустремлённо шла вперёд, и каблуки её туфель стучали по асфальту.

— Ну, внутри. Может, там целый фургон подарков.

— Скорее уж целый фургон чьих-то чужих вещей, — бабушка вздохнула. — Подарки, скажешь тоже. Если бы в фургонах подарки возили, они бы около каждого дома стояли. А этот стоит, и никого рядом. Не отставай.

— А почему чужих? — не унимался Саша. — Если чужих, то чьих?

— Ну, может, переезжает кто. Собрал вещи в коробки и уехал. Или наоборот, приехал. Не всё ли тебе равно? Чужие вещи — это чужие вещи. Трогать их нельзя. Запомни, Саша: чужие вещи трогать нельзя никогда. Даже если очень хочется. Даже если кажется, что в них клад.

— Я и не собирался трогать, — обиделся Саша. — Я просто спросил.

— А я на всякий случай говорю. Всякое бывает. Дети любопытные, лезут куда не просят, а потом — раз! — и беда. Машина не игрушка. Особенно чужая машина.

— Почему?

— Потому. Потому что в чужой машине может быть всё что угодно. Может, там инструменты острые. Может, химия какая. Может, просто грязно. А может, и вовсе машина неисправная, бензином воняет или проводка искрит.

Саша представил, как внутри фургона вспыхивает синяя искра, пробегает по проводам, как змейка, и — бах! — фургон взрывается, как в кино. Красиво, но страшно. Нет, он точно не полезет внутрь. Он только посмотрит издалека. Ещё разок.

Он обернулся. Фургон стоял всё так же неподвижно, тень от него падала на асфальт длинным прямоугольником. В этой тени было что-то неуютное, и Саша поёжился, сам не зная почему. Фургон притворялся обычной машиной. Белый, грязный, с грязными номерами. Через несколько часов этот фургон перестанет быть машиной. Но сейчас Сейчас он был просто фургоном, который пах бензином и мешал нормально пройти.

Они вышли со двора через арку. В арке всегда было эхо, шаги отдавались от стен, и Саша с бабушкой шли как будто в сопровождении невидимого оркестра: тук-тук-тук сверху, тук-тук-тук сбоку. Стены арки были расписаны мелом. Кто-то нарисовал рожицу с кривыми рожками, кто-то написал слово из трёх букв, которое мама называла «нехорошим». Бабушка на это слово покосилась, но ничего не сказала. Саша нарочно топнул посильнее, и эхо ответило ему троекратным стуком.

— Не топай, — сказала бабушка. — Люди спят ещё.

— Уже десять часов! — возмутился Саша. — Кто спит в десять часов?

— Те, кто лёг поздно. Или те, у кого выходной. Ты в школе узнаешь, что люди живут по-разному. У каждого свой режим.

Режим — это было новое слово. Саша попробовал его на вкус: ре-жим. Похоже на «резинку», только без «инки». Интересно, в школе много таких слов? Он решил спросить, но они уже вышли из арки и оказались в соседнем дворе.

Здесь было больше деревьев. Тополя выстроились вдоль забора, высокие, с серебристой листвой, которая всё время дрожала, даже когда ветра не было. Берёзы стояли кружком, как хоровод, и их белые стволы блестели на солнце, будто их покрасили молоком. Даже один дуб был здесь. Старый, толстый, корявый, с ветками, которые свисали почти до земли. Кора на дубе была грубая, в трещинах, кое-где поросла мхом. Саша сразу увидел Лёшку, тот висел на нижней ветке вниз головой и болтал ногами. Штанина на левой ноге закатана до колена, на правой спущена до кроссовка. Как всегда. Кроссовки у Лёшки были красные, с чёрными полосками, и когда он болтал ногами, они мелькали в листве, как два пожарных огонька.

— Санька! — заорал Лёшка и свалился с ветки, приземлившись на четвереньки. Встал, отряхнул колени, поправил штанину. — Ты чего так долго? Я уже два раза слез и три раза залез!

— Я не долго, — обиделся Саша. — Я с бабушкой шёл. Она медленно ходит.

— Ничего я не медленно, — бабушка шлёпнула Сашу по макушке, но не больно, а так, для порядка. Ладонь у неё была лёгкая, как птица. — Это вы, молодёжь, быстро бегаете, а я в ваши годы тоже быстро бегала. От мальчишек не отставала, и мальчишки ещё обижались, что девчонка их обгоняет. Всё, идите играйте, я на лавочке посижу.

Бабушка отошла к ближайшей лавке. Лавка была зелёная, деревянная, краска на ней облупилась, и сквозь неё проглядывало серое дерево. Бабушка села, сложила руки на коленях, вздохнула и стала смотреть куда-то в сторону, на голубей, которые дрались за хлебную корку у мусорного бака.

Лёшка уже тянул Сашу за рукав к дубу.

— Я жука нашёл! — зашептал он, хотя вокруг никого не было. — Майского. Он сонный, но живой. Я его в коробок из под спичек посадил.

— Покажи! — Саша тоже перешёл на шёпот.

— Потом. Сначала на дерево. Кто первый до той ветки?

Лёшка показал на толстую ветку, которая росла горизонтально, как полка. Саша задрал голову: высоко, но не страшно. Ветка была старая, надёжная, с грубой корой. Он лазил на этот дуб сто раз. Кора шершавая, есть за что цепляться. Главное не смотреть вниз. И не думать о том, что ветка может обломиться. Но эта не обломится. Эта держит.

— Давай! — сказал он и первым ухватился за нижнюю ветку.

Лезть было хорошо. Кора царапала ладони, но приятно, как будто дерево держит тебя, помогает, подталкивает. Саша нашёл знакомую выемку в стволе, поставил ногу, подтянулся. Пахло сухими листьями, древесным соком и немного грибами, хотя грибов на дубе не росло. Он закинул ногу, перевалился на развилку, место, где ствол расходился надвое, как огромная рогатка. Отсюда, с высоты, двор казался игрушечным: лавочки как спичечные коробки, люди как фигурки из киндер-сюрприза. Бабушка сидела на лавке, сложив руки на коленях, и смотрела куда-то в сторону. Ветер шевелил её седые волосы, и они выбились из укладки, стали мягкими и пушистыми. О чём она думала? Может быть о войне. Бабушка редко про неё рассказывала, но иногда, когда гремел гром, она вздрагивала и говорила: «Как будто бомбят».

Лёшка вскарабкался следом, кряхтя и сопя. Одна его кроссовка скользнула по коре, и он чуть не упал, но вовремя ухватился за ветку.

— Фух, — выдохнул он. — Чуть не навернулся.

— Надо было за верёвку держаться, — сказал Саша. — Тут верёвка привязана, её кто-то из взрослых сделал.

— Знаю я эту верёвку. Её дядя Паша привязал, когда его сын с дуба свалился. А сын свалился, потому что верёвки не было. Вот такой парадокс.

— Чего? — Саша не понял слово.

— Парадокс. Это когда одно другому мешает. Или противоречит. Я в книжке вычитал, — Лёшка гордо задрал нос. — В энциклопедии. Там написано: «па-ра-докс». Красивое слово.

— Красивое, — согласился Саша. — Парадокс. Надо будет в школе спросить, что это точно значит.

— Спроси, спроси. Тебе учительница ответит. А может, и не ответит. Может, она сама не знает.

— Учительница всё знает, — уверенно сказал Саша.

— Ну да, конечно. Ладно, смотри.

Лёшка достал из кармана спичечный коробок. Коробок был старый, с этикеткой «Балабановские спички», и этикетка по краям обтрепалась. Лёшка приоткрыл его, и Саша заглянул внутрь. Внутри, на клочке ваты, лежал жук. Коричневый, блестящий, с усиками, которые еле заметно шевелились. Лапки поджаты к брюшку, как будто жук спал и видел жучиные сны. Хитиновый панцирь переливался на солнце, отливая медью.

— Он спит? — спросил Саша шёпотом.

— Ага. Скоро зима, все жуки заснут. А весной проснутся. Классно быть жуком, да? Поспал и весна. Никаких тебе уроков, никаких прописей.

— Не, не классно, — Саша помотал головой. — Я не хочу спать до весны. Я в школу хочу.

— Я тоже в школу хочу, — Лёшка захлопнул коробок и убрал в карман. — Слушай, Сань, а ты в какую школу пойдёшь?

— В двадцать третью.

— Я тоже в двадцать третью! — Лёшка чуть не свалился от радости, ветка под ним качнулась. — Мы с тобой за одной партой сидеть будем!

— Если нас не рассадят, — рассудительно сказал Саша. — Может, мальчиков с девочками сажают. Я не знаю.

— Мальчиков с девочками — это скучно. Девчонки вечно хихикают и ябедничают. Помнишь Ирку из пятого подъезда? Она на меня бабушке наябедничала, что я в песочнице машинку у неё отобрал. А я не отбирал, я просто посмотреть взял и сразу отдал. Но она всё равно наябедничала. Девчонки — они такие.

— Моя мама говорит, что девочек надо уважать, — сказал Саша.

— Уважать — это можно. Но сидеть с ними — это совсем другое. Мы с тобой должны вместе сидеть. Ты будешь рисовать в прописях, а я буду списывать.

— Списывать нехорошо, — сказал Саша, хотя сам не знал почему. Так мама говорила, и бабушка тоже.

— А я буду не всё списывать. Только крючочки. Ты крючочки лучше всех рисуешь.

— Откуда ты знаешь? Я ещё ни одного крючочка не нарисовал.

— Знаю, — загадочно сказал Лёшка. — У тебя талант.

Саша не знал, рисует ли он крючочки лучше всех, но от похвалы внутри стало тепло. Он хотел что-то сказать, может быть, тоже похвалить Лёшку, у него здорово получалось свистеть, и он умел пускать солнечные зайчики от стекла, но тут снизу раздался бабушкин голос:

— Саша! Лёша! Слезайте! Обедать пора!

— Уже? — закричал Лёшка, перегнувшись вниз. — Мы только залезли!

— Ничего не «только». Два часа уже сидите. Слезайте, кому говорю. Саша, домой!

Два часа? Саша удивился. Ему казалось, прошло минут пятнадцать, ну, двадцать. Неужели время на дереве летит по-другому? Может, это такой закон природы? Он посмотрел на солнце: когда они залезали, оно было над левой берёзой, а теперь переползло к дубу и светило прямо в глаза.

— Слышал, что бабушка сказала? — спросил Лёшка. — Слезаем?

— Ага, — Саша вздохнул. — Пора.

Саша начал спускаться. Он перекинул ногу через ветку, нащупал опору, оттолкнулся, и тут ладонь соскользнула. Кора была гладкая в этом месте, без трещин, отполированная десятками рук и ног, и пальцы не нашли, за что уцепиться. Саша проехал вниз, обдирая ладонь о шершавый ствол. Кожа слезла лоскутом, и выступила кровь. Маленькая красная капелька, похожая на божью коровку, выползла из-под кожи и задрожала на ладони.

— Больно? — спросил Лёшка сверху. Голос у него был испуганный.

— Не-а, — соврал Саша. Он сжал зубы и задышал носом, как дышал папа, когда ударялся.

На самом деле было больно. Ладонь горела, как будто её приложили к горячей плите, и кровь собиралась в каплю, которая вот-вот упадёт. Саша дунул на ладонь, так всегда делал папа, когда резался бумагой или обо что-то царапался. Дутьё помогало: боль становилась тише, как будто ветер уносил её прочь, маленькими порциями, с каждым выдохом. Саша дул и шёл к бабушке, стараясь не смотреть на ладонь.

Бабушка заметила его издалека. Она прищурилась, подалась вперёд, а когда Саша подошёл ближе, ахнула и встала с лавки.

— Что, ободрался? — она взяла его за запястье и повернула ладонь к свету. — Ну-ка, покажь. Ай-яй-яй. Вот тебе и дуб. Говорила я тебе: не лезь высоко. Нет, каждому надо на самую макушку залезть.

— Я не на макушку, — пробормотал Саша. — Я только до развилки.

— До развилки, до развилки. А если бы с развилки свалился? Что бы я маме сказала? Ну, ничего. Дома перекисью обработаем. Не плачь.

— Я не плачу, — сказал Саша, и это было почти правдой. Глаза щипало, но слезы не текли.

— Знаю, что не плачешь. Ты у нас уже взрослый, — бабушка погладила его по голове. — Взрослые не плачут. Даже когда больно. Пошли.

Бабушка взяла его за здоровую руку, и они пошли обратно к арке. Лёшка махал с дерева и кричал:

— Санька, до завтра! Завтра ещё приду! Ты руку залечи и приходи!

— До завтра! — крикнул Саша, обернувшись. — Я приду! Я всегда прихожу!

— Жду! — Лёшка уже перебрался на другую ветку и свесился вниз головой, совсем как обезьяна. — Вечером жука покормлю!

— Чем ты его кормить будешь? — крикнул Саша, но Лёшка уже не услышал, далеко.

— Жука, — сказала бабушка неодобрительно. — Нашли забаву, жука в коробке держать. Ему свобода нужна, а не коробок. Жук — он живой. В неволе чахнет.

— Лёшка его потом отпустит, — сказал Саша. — Он всегда отпускает. У него в прошлом году лягушка жила в банке, а потом он её в пруд отпустил.

— Лягушка тоже живая душа. Хоть и холодная. Ладно, не отставай.

Они вошли в арку, и эхо опять застучало со всех сторон. Саша на этот раз не топал, настроение было уже не то. Ладонь щипало, и он думал о перекиси. Перекись шипела и пузырилась, когда мама лила её на ранку, и это было и страшно, и интересно одновременно.

Скоро он будет дома. Мама обработает ладонь, наклеит пластырь, и Саша сможет попробовать нарисовать крючочки, о которых говорил Лёшка. А завтра опять двор, опять дуб, опять Лёшка. И может быть, новый жук. А может, что-то ещё. Впереди было столько всего, что Саша даже улыбнулся, забыв на секунду о ссадине. Завтра будет хороший день. Обязательно будет.

Он не знал, что «завтра» будет совсем не таким, каким они его ждали. Что Лёшка погибнет сегодня ночью от стекла, которое разобьётся над его кроватью, и осколок вонзится ему в шею. А жук так и останется в картонной тюрьме.

Часть 3. Лена

Через арку они вернулись в свой двор. Здесь было тише, только где-то на верхних этажах играло радио и хлопало бельё на балконе. Под аркой всегда пахло сыростью и старым кирпичом, даже в самую жаркую погоду. Саша на секунду задержался в тени, не желая выходить на открытое пространство. Солнце поднялось высоко и било прямо в глаза, так что он щурился, прикрывая лицо ладонью. Фургон всё ещё стоял у четвёртого подъезда. Теперь, в ярком свете, он выглядел ещё более грязным: на белой краске проступили подтёки, как будто кто-то мыл машину, но не смыл мыло. Серые разводы тянулись от крыши до самого днища, собираясь в капли на бортах. Ржавое пятно на боку напоминало Австралию ещё больше, даже этот маленький остров внизу, как Тасмания, был на месте. И Саша подумал, что, наверное, машина приехала из Австралии. Прямо из той книжки с кенгуру и пустынями, где красная земля и синие горы вдалеке.

— Ба, а долго фургон этот тут стоять будет? — спросил он, не оборачиваясь.

Бабушка поправила сумку на плече и тоже посмотрела на машину. Ей фургон не нравился. Саша видел это по тому, как она поджала губы и чуть наклонила голову, будто прицениваясь.

— А кто ж его знает.

Но Саша не спешил. Он перевёл взгляд с фургона на человека. У фургона стоял тот же человек в серой кепке, что сидел на лавке у них во дворе. Саша снова не смог разглядеть его лица. Только край щеки и тёмную с сединой щетину. Человек возился с дверью фургона, дёргал ручку. Слышно было, как металл скрежещет о металл. Заело, наверное. Человек дёрнул ещё раз, сильнее, так что весь фургон качнулся. Потом пнул колесо носком ботинка, тяжело, со злостью, и пошёл прочь, к арке. Саша проводил его взглядом: человек шёл быстро, сунув руки в карманы, и не оборачивался. Он прошёл совсем близко от них с бабушкой, и Саша почувствовал запах табака и ещё чего-то кислого, незнакомого. Кепка у человека была старая, с потёртым козырьком и тёмным пятном сзади. Саша хотел спросить у него, из Австралии ли фургон, но не решился. Что-то в походке этого человека было такое, что расхолаживало любые вопросы.

— Ба, а это кто? — всё-таки спросил Саша, когда человек скрылся в тени арки и шаги его затихли.

— Понятия не имею. Шастают тут всякие, — бабушка поджала губы, и Саша понял, что ей снова что-то не нравится. Она всегда так говорила, «шастают», когда видела во дворе незнакомых людей. Это слово Саше казалось смешным, похожим на «шуршат». Но сейчас смеяться не хотелось.

— Пойдём, пойдём, не задерживайся. Обед стынет.

— А что на обед?

— А что вот твоя мама приготовит. Наверное, борщ, вкусный-вкусный.

— Ура, — сказал Саша без особого энтузиазма, всё ещё думая о фургоне.

Они прошли мимо фургона, и тут Саша увидел Лену.

Лена жила в четвертом подъезде и была Сашиной ровесницей. У неё были светлые волосы, заплетённые в две косички, и вечно сбитые коленки, как у Лёшки. Саша дружил с ней, хотя Лёшка говорил, что девчонки — это скучно. Лена была не скучная: она умела свистеть в четыре пальца так, что голуби срывались с крыши, и знала, где живут самые большие дождевые червяки — под старой липой за песочницей. Ещё Лена не боялась жаб и могла спрыгнуть с гаража, не раздумывая. Саша уважал это.

Сейчас Лена сидела на корточках у клумбы и ковырялась в земле палочкой. Клумба была чахлая, с пожухлыми бархатцами и сухой землёй, потрескавшейся от жары. Лена что-то там высматривала, низко наклонив голову, так что косички свешивались вперёд и касались земли. Солнце освещало её макушку, и светлые волосы казались почти белыми. Рядом с ней на бордюре лежала горка вырванных одуванчиков и клевера. Клевер цвёл повсюду, да и одуванчики на юге в эту пору ещё не сошли, и Лена, кажется, собирала их вместе, составляя свой нехитрый букет.

— Привет! — крикнула она, заметив Сашу. Голос у неё был громкий, чуть хриловатый. Она тут же выпрямилась и замахала рукой. — Смотри, что я нашла!

Саша подошёл. Бабушка вздохнула и остановилась поодаль, в тени подъездного козырька. Поняла, что внука теперь не утащишь. Она поставила сумку на скамейку и стала ждать.

— Что? — спросил Саша, приседая рядом. От земли пахло пылью и сухой травой.

— Улитка, — Лена протянула ладонь. Рука у неё была маленькая, с обломанными ногтями и полосками грязи под ними. На ладони лежала маленькая коричневая улитка с закрученной ракушкой. Улитка спряталась в домик, но рожки уже начинали высовываться. Медленно, осторожно, как перископы у подводной лодки. Тонкие, прозрачные, как две антенны, они чуть подрагивали, ощупывая воздух.

— Ого, — Саша осторожно потрогал ракушку пальцем. Ракушка была твёрдая и прохладная, с матовым блеском. Улитка тут же спрятала рожки обратно. — Какая маленькая.

— Ага, — авторитетно сказала Лена. — Ты знал, что улитки рождаются уже с ракушками. Я в книжке читала. У них ракушка растёт вместе с ними. Как у черепах.

— А что она ест?

— Листья. И траву. Она, наверное, голодная. Тут всё сухое, — Лена обвела взглядом клумбу. — Давай её в траву отнесём?

— Давай. А то здесь её раздавят. Или вон тот дядька наступит, — Саша кивнул в сторону арки, где скрылся человек в кепке.

Лена проследила за его взглядом и нахмурилась.

— Я его боюсь, — тихо сказала она. — Он вчера вечером опять на лавке сидел и смотрел на наш подъезд. Мама сказала, чтобы я близко к нему не подходила.

— Моя бабушка говорит — «шастают всякие», — поделился Саша.

— Шастают, — повторила Лена и хихикнула. — Смешное слово.

Она встала и бережно, двумя руками, чтобы не уронить, понесла улитку в траву у подъезда. Саша пошёл следом. Трава здесь была выше и зеленее, чем на клумбе, потому что здесь проходила труба полива и иногда подтекала вода. Лена выбрала широкий лист подорожника, гладкий и прохладный, и аккуратно пересадила улитку на него. Улитка тут же ожила, зашевелилась, оставляя на зелёном листе влажный серебристый след.

— Живи, — сказала Лена серьёзно. Голос у неё был тихий, но твёрдый. Она даже пальцем погрозила улитке, как маленькому ребёнку. — И далеко не уползай, а то опять на дорожку выползешь.

— А улитки понимают, что им говорят? — спросил Саша.

— Конечно, понимают, — не задумываясь, ответила Лена. — Просто ответить не могут. У них рта нет. То есть, наверное, есть, но он маленький.

Саша посмотрел на неё. Лена была смешная: одна косичка растрепалась, резинка сползла почти на самый кончик, на щеке полоска грязи, но глаза весёлые, с хитринкой. Она всегда была чуть растрёпанная, как воробей после драки, и от этого казалась ещё более живой, чем все остальные знакомые девчонки. Саша вспомнил, как она учила его свистеть. У него до сих пор не получалось, только слюна летела, а Лена заливалась смехом и говорила: «Ничего, научишься, у тебя губы правильные». Он тогда очень гордился, что у него губы правильные, хотя понятия не имел, что это значит.

Лена собирала цветы во дворе. Это было её главное занятие летом. Она рвала одуванчики и клевер, искала ромашки, которые прятались в траве у забора, делала букетики и дарила маме. Саша однажды нарвал ей целую охапку. Жёлтых, белых, лиловых, всё, что попало под руку, даже какие-то колючки. И Лена сказала: «Ты как жених». Саша тогда покраснел так, что даже уши загорелись, и убежал, не разбирая дороги. Потом целый день прятался за гаражами и не выходил. Но уже к вечеру забыл об этом, а Лена, казалось, и вовсе не заметила его смущения.

— А ты в школу пойдёшь? — спросила она, плюхаясь обратно на бордюр к своим цветам. Одуванчики уже начали вянуть, и она принялась перебирать их, отбрасывая самые слабые.

— Ага. В понедельник. Первый раз в первый класс, — сказал Саша важно, как говорил папа.

— Я тоже. У меня форма синяя, а банты белые. Мама в «Детском мире» покупала, очередь два часа стояли. Я даже примеряла уже. Мама сказала, что я буду самая красивая.

— А у меня ранец чёрный, с красными полосками. Как у космонавтов, — он даже развёл руки в стороны, показывая ширину ранца. — И пенал с динозаврами. Там брахиозавр и трицератопс. И ещё птеродактиль с крыльями. Он открывается, а внутри карандаши, хочу ещё туда положить фломастеры, которые пахнут клубникой. Мне тётя Люда их подарила.

— Правда пахнут? — глаза у Лены округлились.

— Честное слово.

— Дашь понюхать когда-нибудь.

— Дам.

Лена вздохнула и убрала за ухо выбившуюся прядь. На пальцах осталась земля, но она не заметила.

— А у меня на пенале зайчик, — сказала она грустно. — Скучный зайчик. Розовый. С бантиком. Я тоже хочу динозавра. Чтобы вот так пасть открывал.

— Попроси маму купить.

— Не купит. Мама говорит, что динозавры для мальчиков. Говорит, девочки должны с зайчиками ходить.

Саша нахмурился. Ему стало обидно за Лену и за динозавров заодно. Он подумал немного, глядя на то, как муравей тащит по бордюру сухую травинку.

— Глупости, — сказал он наконец. — Динозавры для всех. Они же жили до людей. Миллионы лет назад. Тогда вообще людей не было, ни мальчиков, ни девочек. Им всё равно. Брахиозавр не разбирал, кто на него смотрит. Он просто листья жевал и всё.

— И на голове у него шишка была? — Лена уже улыбалась.

— Не шишка, а гребень! — поправил Саша. — Как у дракона, только маленький. Я тебе книжку покажу. Хочешь, завтра принесу во двор?

— Хочу! А можно я на твой пенал с динозавром посмотрю в школе?

— Конечно. Мы же будем за одной партой сидеть?

— Ага, — Лена закивала. — Я попрошу Марьиванну. Она добрая. Мне мама сказала.

— А откуда ты знаешь, что она добрая?

— Мама всех учителей знает. Она в школе уборщицей работала раньше. Говорит, Марьиванна никогда не кричит, даже когда мальчишки балуются. Только вздыхает вот так, — Лена тяжело вздохнула, смешно округлив глаза.

Саша засмеялся. Лена тоже. Смех у неё был звонкий, как колокольчик, и разносился по всему двору. Он отражался от стен домов, от фургона, от пустых окон четвёртого подъезда.

— Саш, — позвала бабушка. Она всё ещё стояла в тени, сложив руки на груди. — Домой. Обедать. Борщ совсем остынет.

— Мне пора, — Саша нехотя встал. Коленки хрустнули. — Увидимся завтра?

— Увидимся, — Лена махнула рукой, испачканной в земле. От этого жеста в воздух взлетела лёгкая пыльца с одуванчиков и закружилась в солнечном свете. — Я завтра с утра выйду. Мы ещё улитку проверим.

— И книжку принесу. Про брахиозавра.

— Тащи! — она подняла вверх большой палец, как это делал Лёшка.

Саша пошёл к бабушке. Та уже взяла сумку, поправила платок на голове. На полпути Саша вдруг вспомнил что-то важное. Он обернулся и крикнул, приставив ладони ко рту:

— Лен, я тебе цветов завтра нарву!

Лена отложила палочку, которой опять ковыряла землю, и вскочила на ноги.

— Нарви! — крикнула она в ответ. — Только не колючек, а то в прошлый раз у меня палец прокололся! Одуванчиков нарви и клевера красного!

— Нарву! Одуванчиков и клевера!

— И ромашек, если найдешь!

— И ромашек!

Бабушка взяла Сашу за руку и повела к подъезду. Ладонь у неё была сухая и тёплая. Саша обернулся ещё раз. Лена стояла у клумбы и махала ему обеими руками, смешно подпрыгивая на месте, как воробей перед прыжком. Солнце светило ей в спину, и она казалась золотой.

Но он не нарвал цветов. Завтра в два часа ночи четвёртый подъезд обрушится до основания, и Лена останется под грудой бетона и арматуры. Её отец, Виктор Викторович, приедет

с вокзала в пять утра и будет целовать её уже неживое лицо, перепачканное пылью, похожей на ту грязь, что сейчас у неё на щеке. Будет гладить её растрепавшуюся косичку, ту самую, с которой сползла резинка, и звать её по имени, не веря, не понимая, как такое могло случиться. Но это будет завтра. Сегодня же Лена машет ему рукой, испачканной в земле, и просит нарвать цветов. А Саша обещает. Сегодня всё ещё длится, и солнце всё ещё высоко, и во дворе пахнет влагой после дождя и одуванчиками, а улитка ползёт по листу подорожника, оставляя за собой серебристый след.

Я часто возвращаюсь к этому обещанию. Оно лежит во мне, как камень. Я не нарвал ей цветов — ни на следующий день, ни через неделю, ни через год. И самое страшное, что я не могу вспомнить, какие именно цветы она тогда попросила ей нарвать. Её слова про ромашки, одуванчики и красный клевер лишь моя мечта снова услышать её звонкий голос. Память сохранила только это: «Нарву!» — и её руку, испачканную землёй.

Часть 4. Дома

Дома пахло борщом. Густой, мясной запах тянулся из кухни и перебивал все остальные запахи. И валокордина от бабушки, и уличной пыли, осевшей на ботинках, и даже крови на Сашиной ладони. Запах борща был тёплый, уютный, он обволакивал с порога, как мягкое одеяло, обещая, что всё хорошо, что дома безопасно, что суббота — это суббота, а не какой-то другой, страшный день.

Папа сидел на диване в гостиной и снова читал газету. Он в последние дни часто этим занимался. Лампа, починенная утром, горела ровным жёлтым светом, и вокруг плафона дрожал еле заметный ореол, как будто свету было тесно внутри и он пытался вырваться наружу. Плафон был матовый, стеклянный, с давней трещинкой у основания, которую папа заклеил изолентой. Синей. Изолента слегка пузырилась от нагрева, и Саша, проходя мимо, всегда смотрел на неё, думая, что когда-нибудь она всё-таки отклеится и лампа снова начнёт подмигивать, как это было неделю назад.

Мама вышла из кухни с кастрюлей в руках в прихватках, похожих на двух рыжих котов. У одного «кота» была вышита зелёными нитками усатая морда, у другого хвост, загибающийся колечком. Прихватки маме подарила тётя Люда (её сестра) на Восьмое марта ещё два года назад, и они уже поистрепались, но мама их любила и ни за что не выбрасывала, потому что они были «с характером». От кастрюли поднимался пар, и мама чуть отворачивала лицо, чтобы не обжигало.

— Ага, явились! Саша, руки мыть. Бабушка, обедать с нами? У меня борщ как раз наварился, густой, как ты любишь.

— Нет, Олесь, пойду. Меня там мои кошки ждут, — бабушка Нина уже стояла в прихожей, поправляя платок, сбившийся на затылок. Платок был серый в мелкий цветочек, и бабушка завязывала его под подбородком тугим узлом, который никогда не развязывался сам.

Бабушка Нина жила одна в соседнем дворе, в старой пятиэтажке из красного кирпича, и у неё было три кошки: Муська, Барсик и Рыжая. Саша любил смотреть, как кошки трутся о бабушкины ноги, выгибая спины и задрав хвосты трубой. Они ходили за ней из комнаты в комнату, как свита за королевой, и стоило бабушке сесть в кресло, как все три тут же устраивались у неё на коленях, толкаясь и шипя друг на друга из-за места. Бабушка говорила, что кошки заменяют ей телевизор, а телевизор она не держит принципиально, потому что от него одна головная боль и переживания.

— Может, всё-таки пообедаете? — мама поставила кастрюлю на стол и вытерла руки фартуком. — Я ж тебя одну не отпущу, давай я провожу.

— Олесья, я не маленькая. Три квартала пройти — не расстояние. Я ещё в твоём возрасте пешком на рынок через весь город ходила и ничего.

— То было в твоём возрасте. А сейчас гололёд обещали.

— Какой гололёд в сентябре? Ты что.

— Ну не гололёд, так дождь. Вон, тучи собираются.

Бабушка глянула в окно и махнула рукой.

— Тучи ветром сдует. Сторона не та. В нашей стороне дождь только в октябре зарядит. Я тебе точно говорю, у меня поясницу не ломит.

Она всегда так говорила: «у меня поясницу не ломит», «колени не крутит», будто у неё внутри был встроенный барометр, который никогда не ошибался. Саша верил бабушкиной пояснице больше, чем прогнозу погоды по радио.

— Саш, дай я поцелую, — бабушка наклонилась, и Саша подставил макушку. От бабушки пахло травами и чем-то сладким, похожим на ваниль, и ещё немного кошками, той особой шерстяной теплотой, которая впитывается в одежду. У бабушки были сухие, прохладные губы, а кожа на руках тонкая, с голубыми прожилками вен. — Веди себя хорошо. Завтра увидимся. Я тебе принесу пирожки с капустой.

— И с яйцом, — добавил Саша.

— И с яйцом, — согласилась бабушка. — С зелёным луком. Ты у меня сладкое не очень любишь, а я и рада, меньше сахара переводить. Старые люди говорят: от сахара кости хрустят.

— Это не от сахара, это от возраста, мам, — сказала мама, но бабушка уже не слушала. Она накинула на плечи плащ. Старый, болоньевый, с большими пуговицами, и взяла свою сумку.

— Хорошо. До завтра, — кивнул Саша и помахал рукой.

Завтра он увидит бабушку совсем другой: с трясущимися руками и серым лицом, перебирающей осколки своей довоенной вазы на полу разгромленной квартиры. Завтра её плащ будет в белой пыли, а платок где-то потеряется. Завтра её голос станет глухим и надтреснутым, и она не узнает Сашу сразу, когда он войдёт в её квартиру. Но пока бабушка уходит, её шаги затихают на лестнице, и слышно, как хлопает подъездная дверь вниз. Тяжёлая, с пружиной, которая всегда скрипит на одной ноте, а Саша бежит в ванную мыть руки.

В ванной он включил воду и подставил ладони. Вода была холодная, но не ледяная. Сентябрь ещё не остудил трубы. Вода бежала неровно, то сильнее, то слабее, и кран подрагивал, если повернуть его до упора влево. Мама говорила, что пора менять прокладку, а папа говорил, что руки не доходят. Саша смотрел, как вода скатывается с пальцев прозрачными бусинами, и думал: «А какая она, прокладка, эта?»

Мыло скользило в пальцах, пускало пузыри. Саша намылил ободранную ладонь, и мыло зашипало ранку, но он стерпел. Только поморщился, сжал зубы и зашипел сквозь них, как чайник. Потом смыл пену и посмотрел на ладонь: кровь остановилась, осталась только розовая полоска, как ниточка. Ниточка шла от основания указательного пальца к запястью, и по краям кожа чуть припухла.

— Мам, а у нас перекись есть? — крикнул он из ванной, перекрывая шум воды.

— Зачем тебе перекись? — мама тут же появилась в дверях, вытирая руки о фартук. Она всегда появлялась быстро, когда Саша спрашивал что-то про лекарства. — Ты поранился? Давай сюда. Что случилось?

— Чуть-чуть. Об дерево. Я с Лёшкой залезал на дерево, а там ветка гладкая. Я за неё схватился, но соскользнул.

— Ну-ка, покажи.

Саша протянул ладонь. Мама взяла её, повертела, цокнула языком. Руки у мамы были тёплые и шершавые от воды и мыла, с подушечками пальцев, которые чуть шероховато касались Сашиной кожи.

— Герой. Сейчас обработаем. Сильно больно?

— Не-а. Только когда мыло попало.

— Мыло, конечно, зашиплет. Мыло — оно умное, всю грязь вымывает. А грязь в ране — это плохо. Может воспаление пойти. Ты мне больше по деревьям не лазь, договорились? Лёшка твой, он на голову выше тебя, ему вон какие ветки удобные, а ты тянешься, срываешься. Не ровня вы пока что.

— Я осторожно, — пробормотал Саша.

— Осторожный ты мой. Ладно, давай руку.

Она достала из аптечки, что висела на стене за зеркальцем, пузырёк перекиси, ватку и присела перед Сашей на корточки. Пузырёк был коричневый, с белой пластмассовой пробкой, которую приходилось надавливать и поворачивать одновременно. Мама справилась быстро, смочила ватку, и перекись зашипела на коже белыми пузырьками. Саша засмеялся. Было щекотно, и пузырьки лопались, как маленькие фонтанчики.

— Не вертись, — сказала мама, но тоже улыбнулась, и от уголков её глаз разбежались морщинки. — Если в школе будешь так же ладони обдирать, учительница тебя по головке не погладит. Скажет: что ж ты за ученик такой, пришёл и уже весь ободранный.

— В школе нет деревьев.

— В школе есть парты, стулья, углы всякие. Ты и об угол пораниться можешь, я тебя знаю. Ты у меня такой: если есть обо что стукнуться — ты стукнешься. У тебя талант.

— Это Лёшка говорит, что я везучий.

— Это он в каком смысле?

— В хорошем. Что я падаю и не разбиваюсь.

— Ну, Лёшка у тебя умный по-своему, — мама приложила ватку, подула, так же, как дул Саша во дворе, бережно, легонько, одними губами, и приклеила пластырь. Пластырь был самый обыкновенный телесного цвета. Мама посмотрела на него и чуть нахмурилась. Потом взяла из косметички карандаш для бровей и прямо на пластыре, аккуратно, уголком, нарисовала медвежонок. Медвежонок получился чуть кривоватый, одно ухо больше другого, но он улыбался и смотрел вверх на шарик, который мама нарисовала ему возле лапки. — Вот. Теперь не скучно. Лёшке бы книжки писать, а не по деревьям лазить. Ну всё. Марш за стол.

Обедали борщом. Борщ был красный, почти бордовый, с капельками жира на поверхности, которые переливались золотым, и в нём плавали кусочки мяса и картошки. Мясо мама варила долго, с самого утра, и оно распадалось на волокна. Картошка была ровными кубиками, а капуста тонкими полосками, которые мама нашинковала специальным ножом с двумя ручками. Саша вылавливал мясо ложкой и съедал его первым, а капусту оставлял на потом. Не потому, что не любил, а потому, что любил меньше. Капуста была длинная и скользкая, её трудно было удержать в ложке, и она всё время норовила соскользнуть обратно в тарелку.

— Ты капусту доедай, — сказала мама, заметив Сашину тактику.

— Я доем. Я просто мясо сначала хочу.

— Мясо без капусты не работает. В борще всё важно. Вот смотри: свёкла для цвета, морковь для сладости, капуста для сытости, мясо для силы.

— А картошка?

— А картошка для души, — подала голос мама. — Без картошки борщ — не борщ.

Папа хлебал борщ молча, хмурясь над тарелкой. У него была привычка читать за едой, но мама запретила газету за столом, поэтому папа читать не мог и от этого, кажется, скучал. Иногда он поднимал глаза и смотрел в окно, словно проверяя, не пропустил ли чего-то важного за то время, пока смотрел в тарелку.

— Валь, ты чего такой хмурый? — мама положила ему добавки сметаны. — На работе что-то?

— На работе ничего, — папа взял хлеб, отломил корочку. — План дали новый, до конца года. У нас двое пенсионеров уходят, и замены пока нет. Говорят, может, молодого пришлют

после училища. Но я молодого год учить буду, пока он в цех войти сможет. Ты знаешь, какая сейчас молодёжь? Им бы на дискотеки ходить, а не у станка стоять.

— Ну, может, старательный попадётся.

— Может. Но это ещё не скоро. А пока вдвоём с Игнатовым будем план тянуть.

Саша слушал и болтал ногами под столом. Пятки стучали о ножку табуретки: тук-тук-тук. Звук был глухой, деревянный, успокаивающий. Он думал о школе. Послезавтра. Ещё целых два дня. Сегодня и завтра. Два дня — это много или мало? Если ждать, то много. Если играть, то мало. Вот, например, вчерашний день тянулся долго, как жвачка, которую Лёшка растянул от гаража до песочницы, а позавчерашний пролетел быстро, потому что они ходили в парк. Значит, всё зависит от того, чем заниматься. Значит, если он завтра будет играть весь день, время пролетит быстро, и школа наступит скорее. И это хорошо. Хотя нет, постойте. Если время пролетит быстро, то играть он будет мало. Получался какой-то «парадокс», и Саша нахмурился, вспоминая, что говорил об этом Лёша.

— Ты чего ногами дрыгаешь? — спросила мама. — Стул расшатываешь. Папа же его только в том месяце проклеивал.

— Я не дрыгаю, я думаю.

— И что ты думаешь?

— Думаю: два дня — это много или мало?

— Смотря для чего, — ответил папа, отрываясь от своих мыслей. — Для отпуска мало. Для выходных нормально. А тебе зачем?

— Просто. Я считаю.

— Если в школу хочешь, так послезавтра пойдёшь. Успеется ещё. Школа она на одиннадцать лет. Устанешь ещё.

— Я не устану, — уверенно сказал Саша. — Я люблю учиться.

— Это ты пока что любишь, — папа усмехнулся. — погоди, начнутся задачки по алгебре, там и посмотрим. Алгебра, она такая: сегодня плюс-минус, а завтра иксы-игреки, голова кругом.

— Не пугай ребёнка, — мама легонько толкнула папу локтем. — Ещё ничего не началось, а ты уже алгеброй пугаешь. В первом классе алгебры нет.

— А что есть? — спросил Саша.

— Букварь, прописи, математика, чтение, окружающий мир. И физкультура. На физкультуре вам будут мячи давать и скакалки.

— Скакалки для девочек, — поморщился Саша.

— Скакалки для всех, — строго поправила мама. — Сердце тренировать. Ты думаешь, мальчикам сердце не нужно? Нужно. Ещё как. И не морщи нос, как папа, когда пьёт рыбий жир.

— Рыбий жир — это другое, — папа поставил пустую тарелку на край стола. — Рыбий жир — гадость редкостная. А скакалка — это нормально.

Мама что-то рассказывала про соседку с седьмого этажа. Та опять ругалась с мужем, и мама слышала их крики через вентиляцию. У них на кухне, прямо над плитой, было вентиляционное отверстие, прикрытое решёткой, и иногда оттуда доносились звуки с других этажей: то музыка, то плач ребёнка, то вот такие крики.

— и она ему кричит: «Ты мне всю жизнь испортил!» А он ей: «Сама испортила!» И так каждый вечер. Как спектакль по радио. Я уже знаю их репертуар. Сначала она про жизнь, потом он про её мать, потом она про его зарплату, потом он про её котлеты, и под занавес хлопанье дверью и тишина.

— Может, им купить билеты в театр? — предложил папа, не поднимая глаз от пустой тарелки. — Пусть там покричат. А тут устроили из вентиляции трансляцию.

— В театре, Валь, другие цены. Там за крик платят, а здесь бесплатно. К тому же в театре после спектакля артисты расходятся по гримёркам, а эти остаются в одной квартире. И наутро всё сначала.

— Трагедия, — папа вздохнул. — Ладно, спасибо за борщ. Очень вкусно. Прямо как в старые времена.

— Это ты к чему? — мама прищурилась.

— К тому, что твоя мама в прошлый раз пересолила, и ты ей сказала, а теперь я говорю, что ты не пересолила.

— Ну спасибо. Ценю.

— Мам, а можно я после обеда ранец проверю? — Саша отодвинул пустую тарелку и вытер рот салфеткой.

— Опять? — мама засмеялась. — Там ничего не могло измениться, он стоит в углу.

— Я просто посмотрю. Мне спокойнее. Вдруг что-то забыли.

— Ну смотри. Только потом поможешь мне посуду убрать. Договорились?

— Помогу! Честное слово.

Мама смотрела, как он слезает с табуретки. Саша специально вытерся салфеткой, а не рукавом, и побежал в свою комнату.

Ранец стоял в углу. Чёрный, ортопедический, с красными полосками по бокам. В углу было темнее, чем в остальной комнате, потому что тень от шкафа падала как раз туда, и красные полоски казались не красными, а тёмно-бордовыми, как свёкла в борще. Мама выбирала его целый час в магазине «Канцтовары» на центральной улице, заставила Сашу примерить пять разных, и каждый раз говорила: «Нет, этот неудобный, лямки жёсткие». Саше один ранец понравился. Синий, с машинкой, но мама сказала: «Машинка — это для детского сада, а ты уже школьник». Выбрали этот с мягкими лямками и спинкой, которая дышала.

— Как это — спинка дышит? — спросил тогда Саша.

— Там такая сеточка специальная, воздух проходит, и твоя спина не потеет, — объяснила мама, давая ему потрогать. — Если будешь носить обычный ранец, то вспотеешь, простудишься, и вот тебе кашель на месяц.

Саша не понимал, как спинка может дышать, но верил маме. Мама во всём, что касалось здоровья, разбиралась. Она даже знала, сколько минут нужно кипятить воду, чтобы все микробы умерли, и что горчичники надо ставить не на голую спину, а через марлю.

Он сел на пол и открыл ранец. Пол в комнате был деревянный, крашенный коричневой краской, и в одном месте краска облупилась, обнажив светлую доску. Саша всегда садился так, чтобы не занести занозу под ногу об это место. Пенал на месте, синий, пластмассовый, с двумя отделениями и точилкой внутри. Прописи на месте, в косую линейку. Карандаши, шесть штук, все остро заточенные, папа вчера точил их кухонным ножом, потому что точилка сломалась, в ней застрял грифель. Папа сказал: «Ножом лучше, тоньше получается», и действительно, карандаши стали острые, как иголки. Тетради в клетку, четыре штуки, каждая подписана маминой рукой на обороте. Букварь с буквой «А» на обложке, большой и красной. Саша знал почти все буквы, кроме «Ы» и твёрдого знака. Твёрдый знак был странный. Зачем он нужен? Мама объясняла, что он разделяет, но Саша забыл, что именно разделяет. Какая разница, если он всё равно не читается?

— Мам, а зачем твёрдый знак? — крикнул он в сторону кухни.

— Чтобы подъезд не превращался в подезд, — донёсся мамин голос. — Я тебе уже рассказывала.

— А-а. Точно.

Он закрыл ранец и погладил лямки. Кожаные, пахнут новым, тем самым запахом, который бывает только у новых вещей. Запах кожи, клея и ещё чего-то неуловимого, что обещает

новую жизнь, новые события. Завтра он ещё раз соберёт ранец. Послезавтра наденет форму и пойдёт в школу.

— Мам, а можно я завтра ранец ещё раз соберу?

— Да собирай хоть десять раз, — мама зашла в комнату с тряпкой в руках, вытирала пыль. Тряпка была старая, из распоротой простыни, и мама водила ею по книжным полкам аккуратно, чтобы не уронить книги. — Только спать ложись вовремя. А то завтра будешь сонный весь день.

— Я вовремя. Я всегда вовремя.

— Знаю я твоё «вовремя». Вчера до одиннадцати вертелся, совёнка гладил.

— Совёнок скучает. У него глаз оторвался, — сказал Саша тихо, глядя на подушку.

Мама вздохнула и взяла подушку в руки. Повертела, осмотрела дырку, потрогала нитки.

— Завтра пришью, — пообещала мама. — Сегодня слишком много дел, да и иголку не найду уже второй день. Везде смотрела. И в шкатулке, и на кухне, и даже у папы в инструментах. Иголки как сквозь землю провалились. Придётся к соседке идти просить, неудобно уже, четвёртый раз за месяц. У Раисы Петровны вечно полная шкатулка, а у нас хоть шаром покати. Ну да ладно. Так, уже два часа дня, марш чай пить. У меня печенье есть, песочное, с сахаром.

Мама заварила свежий, с мятой. Мята росла у них на подоконнике в горшке, и Саша сам её поливал. Горшок был глиняный, с поддоном в виде блюдца, и на боку горшка была нарисована ромашка. Саша поливал мяту каждые три дня, строго по графику, и мама говорила, что у него лёгкая рука. «Всё, что он поливает, растёт.» Мята и правда росла хорошо: кустистая, ярко-зелёная, с резными листочками, которые пахли, если их растереть пальцами. После чая с мятой оставался холодок на языке, и Саше это нравилось.

После Саша помог маме убрать посуду. Он составлял чашки в мойку, стараясь не звякать. Чашки были белые с синими цветочками, из сервиза, который маме подарили на свадьбу. Мама говорила, что фарфор бьётся, если стучать им о край раковины, и что сервизу уже десять лет, так что надо беречь. Саша очень старался. Он даже язык высунул от усердия и ставил чашки медленно, как будто они были не фарфоровые, а стеклянные, сделанные из мыльного пузыря.

— Вот молодец, — похвалила мама. — Так, я пока буду мыть посуду, а ты иди поиграй. Можешь в своей комнате, можешь здесь, в гостиной, только не греми.

— А папа не будет ругаться, что я ему мешаю газету читать?

— Папа уже не читает, папа, по-моему, заснул. Ты посмотри на него.

Саша заглянул в гостиную. Папа действительно спал, откинув голову на спинку дивана и приоткрыв рот. Газета сползла с колена на пол и сложилась пополам. Очки съехали набок, и одно стекло поблескивало, отражая лампу. Папа дышал ровно, с лёгким присвистом, и Саша подумал, что папа, наверное, устал на работе. Он на цыпочках прошёл мимо, стараясь не скрипеть половицами, и пошёл в свою комнату.

Саша сел на пол у подоконника. В углу стоял ящик с игрушками: пластмассовые солдатики, сломанный самосвал без одного колеса, динозавры. Ящик был деревянный, папа сколотил его ещё давно, и на крышке Саша нарисовал фломастером звёзды. Фломастер был синий, и звёзды получились кривые, но Саше нравилось. Он открыл ящик и начал перебирать игрушки. Солдатики попадали на бок, самосвал опрокинулся, и из кузова высыпалась пластмассовая морковка от какой-то другой, давно потерянной игрушки. Саша покрутил морковку в пальцах и отложил в сторону.

Он достал брахиозавра и тираннозавра, поставил их друг напротив друга. Брахиозавр был хороший. Длинная шея, маленькая голова, добрые глаза, нарисованные краской. Краска на одном глазу слегка облупилась, и казалось, что брахиозавр подмигивает. Тираннозавр хищник, с рогами и воротником на шее. Рога были тупые, потому что Саша когда-то грыз их, пробуя на прочность. Пластмасса была твёрдая и невкусная. Саша поводил тираннозавром по полу, рыча: «У-у-у, я тебя съем», но брахиозавр не боялся.

— Ты не можешь меня съесть, — сказал Саша тонким голосом брахиозавра. — Я высокий. Я ем листья с верхушек. Ты даже не дотянешься.

— Тогда я залезу на дерево, — прорычал тираннозавр и топнул пластмассовой ногой. Топанья не было слышно, но Саша представил, как земля дрожит.

— Ты тяжёлый. Дерево сломается. И ты упадёшь в болото.

— Я не упаду. Я осторожный.

— Ты хищник. Хищники не осторожные, они злые и торопятся.

Тираннозавр задумался. Саша тоже задумался. Он отложил динозавров и лёг на спину, глядя в потолок. Потолок был белый, с трещиной в углу. Саша сто раз смотрел на эту трещину. По утрам она ему казалась молнией, а по вечерам он представлял, что это река, а вокруг берега из побелки. По реке плывут лодки — пылинки. В лодках сидят человечки — ещё меньшие пылинки. Куда они плывут? Наверное, к люстре. Люстра была большая, круглая, как озеро. Человечки приплывали к люстре, устраивали там привал, а потом отправлялись дальше, в другую трещину, которая вела в другую комнату. У них была целая страна на потолке. Может быть, у них даже была школа, и они тоже собирали ранцы перед первым сентября.

Он полежал так немного, придумывая жизнь потолочных человечков, потом перевернулся на живот и посмотрел под кровать. Там было темно и немного пыльно. Пахло деревом и старой бумагой. Под кроватью лежал альбом для рисования. Большой, с белыми листами. Обложка у альбома была глянцевая, с нарисованным мишкой, который тоже что-то рисовал, он держал в лапе кисточку. Саша вытянул его и открыл на чистой странице. Карандаши были в пенале, в ранце. Лень было идти за ними. Он взял фломастер с тумбочки, красный, с погрызенным колпачком, и начал рисовать. Колпачок был весь в мелких вмятинках от зубов и держался уже не крепко, но фломастер ещё писал.

Сначала нарисовал дом. Дом был квадратный, с треугольной крышей и окошками. Окошки получились разного размера, потому что Саша не рассчитал расстояние. Потом дерево — палку с шапкой. Шапка была похожа на облако. Потом солнце — круг с лучами во все стороны. Лучи были разной длины, и один получился таким длинным, что упёрся в край листа. Потом человечка: «палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек». Руки у человечка получились растопыренными, как грабли. Под человечком подписал кривыми буквами: «САША». Буква «Ш» получилась завалившейся набок, но Саша не расстроился. «Ш» вообще трудная буква — три палочки и ещё одна посередине. Легко запутаться.

Он подул на рисунок, хотя фломастер не нуждался в сушке, просто так, по привычке. Мама всегда дула на лак для ногтей, и Саша перенял. Затем он встал и пошёл на кухню.

— Мам, смотри! — он протянул рисунок.

Мама обернулась от плиты. В руках у неё была луковица, и она резала её, щурясь от слёз. Слёзы текли по щекам, мама вытирала их тыльной стороной ладони, но они всё равно капали. На разделочной доске уже лежала горка полупрозрачных колечек.

— Ой, Саш, погоди, дай дорежу. Глаза щипет. Страшно щипет. Это лук какой-то особенный попался, злой.

— Это лук виноват?

— Лук, — мама шмыгнула носом. — Он всегда так. Заставляет плакать, даже если не грустно. Такая у него работа. Он как маленький химический завод. Выделяет газ, а газ вступает в реакцию с водой в глазах, и получается кислота. Поэтому и щипет. Ты в школе на химии это проходить будешь, классе в восьмом.

Саша посмотрел на луковицу. Жёлтую, блестящую, с сухими хвостиками. Хвостики были шуршащие, ломкие. Странно: штука, похожая на маленький мячик, заставляет плакать. Он решил, что в школе про это обязательно расскажут, наверное, на уроке «Окружающий мир». Или на природоведении. Или как там называется предмет, где изучают лук.

— Ну, показывай, — мама вытерла руки о фартук и взяла рисунок. Она держала его осторожно, за уголки, чтобы не смазать фломастер. — Ого! Это кто?

— Это я. А это дом. Наш дом. А это солнце. Видишь, какие лучи?

— Солнце какое большое, — мама улыбнулась. — И лучи во все стороны. Прямо сияет. Ты у меня настоящий художник. Прямо Айвазовский. Он тоже стихию рисовал. Только море. А ты солнце. Давай повесим на холодильник?

— Давай!

Мама достала магнит, круглый, с кошкой, и прикрепила рисунок к дверце холодильника. Магнит был старый, с отбитым ухом у нарисованной кошки, но держал крепко. Рисунок повис криво, и Саша поправил его обеими руками. Теперь прямо. Теперь все, кто войдёт на кухню, увидят: вот дом, вот солнце, вот Саша. И кошка-магнит.

— Мам, а давай ещё что-нибудь нарисую? У меня там ещё динозавры есть, я могу брахиозавра нарисовать. Он большой и с длинной шеей.

— Давай. Только попозже. Мне ещё тесто ставить на завтрашние пирожки, и ужин готовить. А пока, иди руки мой, скоро ужинать будем.

— А что на ужин?

— Котлеты с гречкой. Ты же котлеты любишь.

— Люблю! Особенно с корочкой.

Саша вымыл руки. На этот раз без мыла, просто сполоснул. Ладонь под пластырем не болела, и он боялся, что если будет долго тереть, пластырь отклеится.

Затем Саша вошел в гостиную. Папа уже не спал. Он сидел на диване: газета разложена на колене, очки съехали на нос, брови нахмурены. Он перелистывал страницы медленно, с хрустом, и что-то бормотал себе под нос. Саша забрался на диван и заглянул в газету. Там были чёрные буквы, колонками, и фотография какого-то человека в костюме. Человек не улыбался. У него были маленькие глаза и большой галстук.

— Пап, а что ты читаешь? Ты же говорил, что неинтересно.

— Про политику, — папа перевернул страницу. — Неинтересно.

— А почему неинтересно, если ты читаешь?

— Потому что взрослые дяди спорят, кто главнее. Скуотища. Но читать надо, чтобы знать, что в мире делается. Вдруг что важное.

— А что важное?

— Да ничего. Кризисы, выборы, курс валюты. Вырастешь — узнаешь.

Саша не понял, но переспрашивать не стал. Он прижался к папиному боку, чувствуя тепло его рубашки и запах. Папа пах газетой, металлом и ещё чуть-чуть утренними оладьями. Запах металла был от работы. Папа работал на заводе, в механическом цеху, и всегда после смены от него пахло железной стружкой и машинным маслом, как бы старательно он ни мыл руки с мылом. Папа обнял его свободной рукой и продолжил читать. Ладонь у папы была большая, тяжёлая, она накрыла Сашино плечо целиком. Саша смотрел в окно.

День уходил. Солнце спряталось за крышу соседнего дома, и тени во дворе вытянулись, стали длинными и синими. Дом напротив был девятиэтажный, панельный, такой же как и их. На его стене, на уровне пятого этажа, темнело пятно. Прошлым летом туда ударила молния, и с тех пор остался след. Фонарь у подъезда ещё не горел. Зажигался он позже, когда становилось совсем темно. Саша видел, как кто-то выгуливает собаку. Маленькую, чёрную, похожую на мохнатого жука. Собака нюхала асфальт, дёргала поводок, а её хозяйка, тётянка в красной куртке, стояла рядом и разговаривала по телефону.

— Пап, а давайте мы завтра на дачу поедem?

— А давай поедem, — папа перевернул ещё одну страницу. — Если погода не испортится. А то обещают дожди к вечеру.

— А какая погода должна быть?

— Хорошая. Без дождя. С солнцем. Чтобы деревья сухие были, а то по мокрой траве лазить, то обуви не напасёшься.

Саша посмотрел на небо. Небо было чистое, без облаков, и он решил, что завтра дождя не будет. Завтра будет солнце, дача, яблоки. Он соберёт целую корзину. И одну грушу, если найдёт. На даче у них была старая груша-дичка, которая плодоносила раз в два года, и в прошлом году она отдыхала, значит, в этом должна была дать плоды. Мелкие, зеленоватые, твёрдые, но сладкие. Саша их любил.

Потом мама позвала их ужинать. Ужинали гречкой с котлетами. Котлеты были круглые, поджаристые, с хрустящей корочкой. От них шёл пар, и на срезе они были серовато-розовые, сочные. Мама положила Саше две штуки, папе три, а себе одну. Саша съел две штуки быстро, почти не жуя, и попросил третью, но мама сказала:

— Хватит, живот заболит. Котлеты жареные, тяжёлые.

Саша не стал спорить: живот и правда был уже полный. Он помог маме убрать тарелки, и когда они вернулись в гостиную, за окном уже зажёгся фонарь. Фонарь был жёлтый, с металлическим колпаком, и вокруг него уже начали кружиться первые ночные мошки.

Папа после ужина стал снова читать газету, а мама что-то села вязать. Длинный шарф, который она обещала связать к зиме, пока что был коротким куском серой шерсти, весь в резинку, с торчащими спицами. Мама вязала быстро, спицы мелькали в её руках, постукивая друг о друга. Клубок лежал в корзинке на полу и иногда скатывался на ковёр, и тогда Саша поднимал его и клал обратно.

За окном темнело. Сентябрьские сумерки были синими, с оранжевой полоской у края неба. Там где садилось солнце. Уличный фонарь бросал на стену луч. Длинный, жёлтый, пере-чёркнутый тенями ветвей. Дерево за окном качалось, и тени на стене качались вместе с ним, как будто чьи-то руки махали Саше на ночь. Ветки у дерева были тонкие, гибкие, и тени от них казались пальцами, которые то сжимались, то разжимались. Саша подумал, что если долго смотреть, можно представить, будто дерево пытается что-то сказать. На языке теней, без звука.

— Завтра воскресенье, — сказал папа, откладывая газету и снимая очки. — Может, на дачу съездим? Прямо с утра, часов в восемь. Пока машин на дорогах мало, доедем быстро. Заодно проветримся. Яблок наберём, воздухом подышим. Сашка вот попросил.

— На дачу? — мама подняла голову от вязания и перестала стучать спицами. — А успеем всё? У Саши школа в понедельник. Надо форму погладить, цветы купить. Ой, цветы! Мы же не успеем купить!

— Ну, а мы после дачи на рынок заедем, — папа посмотрел на маму и поднял брови так же, как это делал Саша, когда просил сладкое перед едой. — На крайний случай, я в понедельник перед работой поеду и куплю цветы.

— Тогда едем, — мама кивнула, но посмотрела на отца с взглядом небольшого осуждения. — Только Саша пусть ляжет пораньше. Чтоб выспался. В десять максимум. Я серьёзно. Завтра день долгий.

— Я лягу! — пообещал Саша. — Я сейчас же лягу!

Но он не лёг сейчас же. Сначала нужно было почистить зубы. С мятной пастой, которая щипала язык. Паста была белая с зелёными полосками, и на тюбике была нарисована ромашка. Саша выдавил слишком много, и паста упала в раковину, но он успел подхватить её щёткой. Щётка у него была синяя, с рыбкой на ручке. Он чистил зубы старательно, как учила мама: сверху вниз, снизу вверх, и по кругу. Потом прополоскал рот водой из-под крана.

Потом мама пришла пожелать спокойной ночи. Она уже была в домашнем халате, синем, с вышитыми незабудками, и от неё пахло кремом для рук. Поцеловала в лоб, губы были прохладные, мягкие, поправила одеяло, задернула бордовые шторы. Шторы были плотные, бархатные, они шуршали, когда их задёргивали.

— Фу, ну и навоняли бензином на улице. Закрою тебе на ночь окно, так и угореть недолго. Ну, всё. Спи, первоклассник. Завтра важный день.

— Послезавтра важный день. А завтра дача.

— Дача тоже важный день, — мама улыбнулась и поправила ему волосы, убрав чёлку со лба. — Ты яблоки будешь собирать. А это ответственное дело. Яблоки снимать надо аккуратно, с плодоножкой, иначе гнить будут. Папа тебя научит. Мы всегда так делаем.

Она выключила свет и вышла, оставив дверь чуть приоткрытой. В щель пробивался свет из коридора. Тонкая полоска на полу, как золотая нитка. Саша лежал и смотрел на эту полоску. Она была ровная, прямая, и в ней плавали пылинки.

Завтра они поедут на дачу. Завтра мама пришьёт совёнку глаз, она обещала. Завтра он ещё раз соберёт ранец. Завтра будет хороший день.

Послезавтра школа.

Он закрыл глаза. Совёнок на подушке смотрел на него одним голубым глазом, и Саша подумал: «Завтра у тебя будет два глаза. И ты увидишь, как я иду в школу. Ты будешь сидеть на подушке и всё видеть. Я тебе потом расскажу, как всё было».

Он не знал, что через несколько часов мир перевернётся. Что школа не наступит ни послезавтра

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.